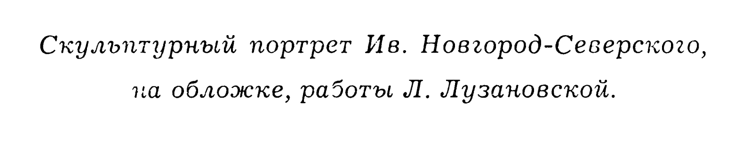
ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

МОЯ СИБИРЬ

(ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ)





Скульптурный портрет Ив. Новгород-Северского,
на обложке, работы Л. Лузановской.

ИВ. НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

МОЯ СИБИРЬ

СКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТИХИ

(ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ)

Издание Русского Научного Института

Париж

1973

Посвящается жене моей,
Ю. А. Кутыриной.

Издание Русского Научного Института

Druck: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Иван Новгород-Северский безгранично глубоко любивший свою Сибирь посвятил ей последние годы творчества, в рассказах, очерках и сказках книги

«МОЯ СИБИРЬ».

Он остается в ней тем же поэтом крайнего севера, о котором писатель путешественник доктор В. Унковский написал прекрасную статью «Поэт крайнего севера». *

* Смотрите все произведения поэта в ранее напечатанных книгах.

В. УНКОВСКИЙ

ПОЭТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Иван Новгород-Северский за последние годы выпустил 7 книжек стихов: «Айсберги», «Арктика», «Заполярье», «Тундра», «Шаманы», «Чум», «Аргыш».

Поэт долго жил в заполярьи и о себе говорит:

Воздушный волк я тундры голубой,
Над ней взлетевший новым любованьем.
Цветы живые взял в полет с собой —
Земли улыбку, робкое лобзанье.

В семи книжках, вдохновенно и с любовью, воспеваются неведомые нам края, знакомые только по наслышке. Ведь почти для всех нас terra incognita — эти беспредельные пространства за полярным кругом там, где царит полугодичная ночь, среди льдов и снегов. Мы читали впечатления Фритьофа Нансена о его экспедиции к северному полюсу, Амундсена, следили за кораблем Седова.

И вот Ив. Новгород-Северский открывает нам, в своих звучных красивых стихах, неведомый для нас мир. И точно Виргилий в поэме Данте — он водит читателя по своего рода девяти кругам, но не ада, а волшебного царства — среди змей глетчеров, сползающих с небесных вершин, пловучих льдин, которых звон хрусталей, среди снегов, горящих парчею и перламутром.

В гирляндах пламени колышется сполох,
Какой-то силой движим неземною.
Олени роют снег и добывают мох,
Матерый волк крадется стороною . . .

Поэт бродит в краях, богатых «рыбьим зубом» —

так называют туземцы мамонтову кость, там, где «тунгуска старая колдунья, идет на север в полнолунье», видит «оленей золотых прозрачные рога», пробирается в трущобах льдов которые кажутся хрустальным звонким лесом. Он — свой в алмазном плену бесконечной пустыни, где в сполохах багряный свод небесный, или «сползает глетчер радужным драконом».

Прекрасны айсбергов ревнивые дозоры —
Воздушной Арктики мечтательных пажей —
Цветная вязь, хрустальные узоры,
Прозрачный шелк над лежками моржей.

Он празднует в снегах и Пасху и Рождество, встречает в тундре солнце, после полугодичной непрерывной тьмы, а летом «и днем, и ночью радостно светло, какой простор над гладью моря зыбкой». И тогда — после нудной спячки — подобной медведю в берлоге — «загорается в сердце страсть — задорный огонек в косых глазах тунгусских».

Он путешествует с китоловами среди тюленьих островов, ищет гагарьи пуховые гнезда, любуется моржами, и песец седою спинкой указывает ему «предел-межу».

Постепенно меркнет полугодичный день — приближается зима, когда во время лихой полярной пурги, радостно отсидеться в чуме.

В ночи холодной, долгой, черной,
Есть та же красота, что в ярком южном дне,
Здесь звезды светят также не одне,
А целым сонмом над сполохом жарким.

Поэт прекрасно изучил эти дивные, сказочные, нам неведомые края, у него прекрасная память, большая наблюдательность, недюжинное дарование, которое им руководит, как пчелой собирающей мед — инстинкт.

Он бродит или плавает по Ледовитому океану недаром подобно отважным спутникам Христофора Колумба, или золотоискателям. Или он похож на естествоиспытателя, гоняющегося за редкой бабочкой по опасным болотам и дремучим лесам, он ищет детали и запечатлевает их, изучая полярную жизнь. И потому говорит смело (это стихотворение, которое я считаю руководящим ко всем семи книжкам, привожу полностью) —

Я — первый следопыт родных снегов,
Я капитан Майн-Рид полярных прерий.
Повсюду предо мной открыты двери
Язык мне ведом северных богов.
Я доходил до дальних берегов
Где чукчи и айну ведут борьбу с морями.
Где нойды знатные живут царями,
Где чтут меня и шум моих шагов.
Я и теперь туда пойти готов,
Порой в ночи гремит мой бубен звонкий,
Колчан и лук вдруг зазвенят в сторонке
И чудится впотьмах мне чей-то в тундре зов!

«Я знаю, что я ничего не знаю», — говорил древний мудрец и философ Сократ. Вселенная бесконечна и по сравнению с ее безграничностью, все наши познания — песчинка. «Нельзя объять необъятного», — изрекал Козьма Прутков, но пытливость врождена каждому от гения до дикаря. И чем выше культурный уровень человека, тем более он дорожит новыми вехами.

О большом даровании Ив. Новгород-Северского пишет Ив. Шмелев — оценка крупного маститого русского писателя не нуждается в комментариях и дополнениях. И потому я с своей стороны скажу, прочитав внимательно все семь книжек:

— Спасибо Ив. Новгороду-Северскому за то, что в

своей поэзии он символически пошел историческим путем Васко-де Гамы, Беринга, Магелана или Кука, показав неизведанные пространства за северным полярным кругом, влюбленный в них до трогательности. Вместе с поэтом, мы побывали там. И впечатления об этой сказочной поездке образно сохранились не только в нашей памяти, но и в сердце, которое талантливый поэт заставил трепетно биться.

Ю. КУТЫРИНА

ИВАН НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ

сибирский, русский поэт-богатырь. Он в детстве впитал всю ширь, всю глубь, всю мощь, этой великой страны, — людей-богатырей, — от ее богатейшей природы: от тайги, степей, пустынь, гор, от льдов океана, от снегов тундры. Творчество этого поэта столь многокрасочно, столь мощно! Поражаешься его высокому духу, поднимающемуся всегда ввысь к Творцу Вселенной — к Богу — и всё трепещет сердцем, любовью, добром, красотой души. Его творчество — целый океан стихотворений, сказок, очерков. Через них обогащаешь себя знанием природы и человека сибирской России — это особый мир, который нужно понять, ценить за его высокие чудесные дары . . .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над тьмою свет

ГЛАВА I

ПОЛЯРНЫЕ ОЧЕРКИ

Блестит снегов наряд
порфирный.
Он весь в алмазах,
жемчугах.
Как будто Дух
благой надмирный
мне небо разостлал
в ногах.
Куда иду я путник
светлый,
какой дорогой
неземной.
И кто в огнях
летит за мной,
большой, горячий
и приветный?
Не он ли путь мой
растветил
и дал отраду жить
с улыбкой?
Мне эту тундру
подарил —
оазис грез
в пустыне зыбкой.

О ВРЕМЕНИ КОГДА УГАСАЕТ СВЕТ

Над тьмою свет

В каких-то снах,
воздушных безмятежных
проснулась ночь,
зарделась ярким днем.
И на морях,
широких, белоснежных,
во льдах горит
немеркнущим огнем.
Хоть солнца нет,
пустыня все же светит.
Какой огонь,
и кто в ночи зажег?
Но знаю я,
что мне душа ответит:
«Над тьмою свет,
и тьмою
светит Бог!»

***

Полярная область, в наше время, привлекает внимание всего мира. Это и навело меня на мысль поделиться моими краткими полярными очерками. И вот, начинаю моей встречей с художником Пинегиным.

С художником Пинегиным, полярником, спутником лейтенанта Седова, искавшего путь к Северному полюсу, мы были в трогательно дружеских отношениях.

Было какое-то очарование в этом неразговорчивом, задумчивом и тихо ласковом душевном человеке. И трудно было догадаться о той тяжкой и суровой школе жизни, которую он прошел, о тех необыкновенных странствиях, которые он исполнял.

И, теперь, заинтересованный *необыкновенными экспедициями в Арктику, переходом подводной лодки «Наутилус»* сквозь глубины Северного Ледовитого океана, под вечными льдами Северного полюса и, роясь в своих записках, нашел отрывок из дневника Пинегина. И вспомнил о нем, о корабле бедного «Святого Фоки» и лейтенанте Седове в «утлых» собачьих саночках, пытавшегося достигнуть заветной цели, и погибшего на архипелаге Императора Франца Иосифа.

Вот что писал художник Пинегин:

«...С конца октября потянулись длинные бессветные сутки, однообразной работой и редкими — в хорошую погоду — прогулками. Несколько выдержек из моего дневника могут дать некоторое понятие о 'времени, когда угасает свет'.

Сегодня прекрасная погода, легкий морозец 20—22° Цельсия. С пяти часов вечера прекрасное северное сияние. Его увидел Седов, вышедший сделать наблюдение над высотой Марса. Сияние началось голубой полоской света в северо-западной части неба. Она поплыла, медленно поднимаясь, разгораясь и изменяясь. Вот — изогнутая лента, а вот тончайший занавес из света. Он торжественно плывет через звезды, растет, тает, то загорится на сгибе зеленым лучом, то сверкнет на несколько мгновений тонкими, яркими нитями, то соберется густыми складками в самый зенит и резвернется от горизонта до горизонта.

Следишь за превращениями и не сразу заметишь — в другой части неба — новое пятно. Оно быстро ширится, и как-то сразу оказывается не пятном, а таким же

занавесом. Плывут рядом. Темное небо, тишина нерушимая, неземная. Поднимаются в вышину мачты, они — действительность: их можно осязать. Не то, на чем они силуэтом рисуются — то сказка, сон с чудесными превращениями. Загадка. Наваждение.

Сияние длилось часами. Я долго стоял и мерз. Но нужно же когда-нибудь уйти. Только собрался, небо опять загорелось. Один из занавесов стал вбирать в себя остальные, как стрежь тянет к себе береговые струи. Собрав весь свет воедино, занавес начал пляску между звезд.

Чудилось, что в голубом эфире кто-то трясет *огромную ленту или вымпел, а он в чудесном трепете расправляется и разноцветно играет.*

Прошло мгновенье и . . . вымпела нет. Он, собравшись в зенит густыми складками, брызнул книзу огненным снопом разноцветных огней — оранжевых, красных, зеленых — чудесным и волшебным фейерверком.

Потом потухло все. И снова появились ленты одна за другой. Всю ночь небо то загоралось, то потухало. Лед и снег, отражая свет неба, темнели и светили, то потухали совсем, как будто кто-то наводя прожектор и не найдя ничего в этой пустыне, убрал его луч . . .
Октябрь 1912 года,
остров Новая Земля».

Здесь я хотел дать образец того, как Пинегин, прекрасный художник, кистью, красками запечатлевший красоту Севера, воспел ее и художественным словом.

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ САМОЕДЫ

От собашных самоедов
Еду к югу, к оленным.
Тороплюсь по волчью следу
На тепло, на дальний дым.
Любо нартам расписным
В снежном бисере купаться,
Как лебедке отряхаться,
Видеть месяц молодым.

***

Интересные данные о самоедах Новой Земли я почерпнул из записок доктора, практиковавшего среди новоземельцев и из дневника экспедиции известного ученого Русанова.

Но прежде чем приступить к очерку, я скажу о том, откуда происходит слово «самоед».

Художник Александр Алексеевич Борисов утверждал, что название «самоѣд», написанное через букву ять, неправильное. Вернее будет «самоед», через простое «е».

Не подлежит сомнению, — говорил он, — что слово это происходило от слов «сам един», то есть, живущий один, отдельно, своей семьей. Живущий своей, какой-то, особенной жизнью. Но никак не от слов «сам себя ест!». И, действительно, на Печоре, в Мезени, и, вообще, на Севере, самоедов никогда и не звали самоедами.

А всегда завли так: самодь, самоди, самодин, само-

един, где ясно очень слышится корень этого названия.

По-самоедски же самоеды сами себя называют: «неньця!» То есть народ Нена, ненцы!

В старое время, в административном отношении, остров Новая Земля входил в общирную тогда Архангельскую губернию.

Теперь же, на сколько это верно — не знаю, — в Ненецкий Национальный округ.

А вот теперь расскажу про доктора.

Доктор медицины И. М. Захаров писал:

«На острове Новая Земля, в 1910 году было двадцать пять семейств промышленников, состоявших из пятидесяти трех душ мужского пола и пятидесяти душ женщин, всего сто восемь человек.

Большинство населения — самоеды, но уже значительно утратившие свои этнографические особенности. Большая часть их живет в избах, предпочитая их чумам.

Три виденных мною чума, были обложены по низу досками, имели досчатые двери. И у живущих в них, имелись некоторые культурные принадлежности: очаг, устроенный из кирпича, самовар и тому подобное.

Все самоеды здесь православные, более или менее говорят по-русски. Молодежь грамотна, дети учатся.

Племенная одежда у некоторых заменяется пиджаками, сапогами и шапкой. Но большинство мужчин носит свои малицы. А женщины — паницы с шароварами и пимами из тюленьей шкуры.

Антропологический тип их более характерен в старом поколении, чем в молодом. Все без видимых физических недостатков и признаков вырождения. Обладают отменным здоровьем, выносливостью, с редкими, несерьезными заболеваниями. И, кажется, только подстарость тихо спускаются по ступенькам к могиле.

Среди них, по числу лет, большой процент старчес-

кого и позднего старческого возраста. Но лица эти еще бодрые и трудоспособные.

Что имеет здесь значение? Племенная ли стойкость, близость ли жизни к природе, исключительно чистый, хотя и суровый воздух Новой Земли? Ответить пока нельзя!

Но во всяком случае, годы стариков свидетельствуют о жизнеспособности самоедского населения новоземельских колоний.

Пищей самоедам служит соленая оленина, черный хлеб, голец — разновидность семги, свежий или соленый. Иногда мясо белого медведя, при отсутствии других мясных продуктов.

Всегда пьют чай, имеют запас сахара и мелких баранок, сушки. Оленья солонина употребляется в вареном виде, из похлебки с мукой или крупой. Хорошо посоленную и сохраненную оленью солонину, какую я пробовал в Маточкином Шаре, в доме промышленника Запасова, можно есть с удовольствием.

Одно прискорбное явление в жизни самоедов, поразит всякого посещающего их колонии — это необычайное пристрастие к водке. Пьют не только мужчины, но и женщины, и дети.

Первым последствием прибытия парохода, несмотря на принимаемые строгие меры, оказывается появление пьяных самоедов на берегу.

В Малых Кармакулах, в разговоре с несколькими молодыми женщинами, я спросил, пьют ли они водку. И они, без всякого смущения ответили, что пьют.

А на другой вопрос, много ли они пьют, ответили:

— Много не пьем, тогда ходить не можно. (!)

Пьют, правда, редко. Три-четыре раза в год, благодаря приходящим судам и пароходам. Но, кажется, пили бы без конца, если бы могли получать водку.

В Малых Кармакулах мне пришлось делать пере-

вязку руки одной молодой женщине, в пьяном состоянии, случайно сделавшей себе ножом рану на руке. Она была почти без сознания, и могла только лежать.

Этот маленький случай вызвал у меня неприятное и тревожное ожидание повторения подобных. Больничный опыт приучает врача видеть в пьянстве обычную причину, так сказать, взрыва в темных углах душевной природы человека с активным проявлением злобы и всякого безрассудства.

Но непродолжительное наблюдение, и уверения знающих самоедов, успокоили меня. Пьяный самоед или витает в веселых грезах или спит, если было много водки. Но всегда благодушен и кроток.

Промысловый нож, который каждый самоед носит у пояса, в такое время забывается».

А Русанов рассказывал:

«Бросили якорь против самоедской колонии. Самоеды открыли приветственную стрельбу из всех своих ружей. И скоро явились на палубу «Дмитрия Солумского». Возбужденные, жестикулирующие и даже разодетые в чистые накрахмаленные воротнички. Несомненный признак того, что здесь недавно был пароход Мурманского Товарищества «Королева Ольга».

Все же, христианство, которое исповедовали новоземельские самоеды, было благотворным явлением, смягчающим их нравы. И на Новой Земле оно укрепилось и процветает давно».

Летопись Сийского монастыря гласит:

«. . . и, вот, последующие события в истории Сийского монастыря.

В том виде и порядке, как они означены в монастырской книге 'Памятник': . . .

. . . в 1657 году со старцев не велено брать пошлину.

В 1660 году пришло в монастырь . . . дозволение написать святые иконы Федору Усольцу. В 1662 году до-

зволено монастырю купить в Неноксе соляную варницу. В 1672 году патриарх Иосиф указал Феодосию избрать иерея и дьячка с Двины и послать их на Новую Землю для богослужения».

И художник Борисов отмечал, что у многих самоедов в чуме встретишь икону. Пред которой, по праздникам, они зажигают восковые свечи и кадят ладаном.

Но он подметил и другое. Видел у самоеда, прозвищем Сяско, а по-русски Ивана, пыререки — маленькие, игрушечные саночки, в которых покоилась супружеская чета миниатюрных истуканчиков. Эти саночки ставились сверху воза хозяйки.

Беседовали мы по этому поводу с одним святым отцом, миссионером. А он ласково махнул рукой.

— Знаю, знаю! Это ничего! они сущие дети. А все-таки они — христиане!

Только что хотел закончить очерк, но вернусь опять к художнику Александру Алексеевичу Борисову.

«Шибко любит самоед свою тундру, — говорил он. — Да как и не любить ему свою кормилицу. Ведь он здесь родился и вырос. Здесь и жизнь коротает. Тундра была его колыбелью, будет и могилой. А пока самоед живет, она для него большой чум, в котором так привольно и отрадно дышится».

Большой родной чум, под еще бо́льшим голубым Божьим чумом. И уж совсем счастлив он, когда видит, как его необозримое стадо оленей, — его жизнь! — пасется и лелеется в тундре.

«Вот ты, Александр, — говорил один самоед художнику Борисову, — поедешь в Питер, скажи царю, что моху у нас нету. Оленей нечем кормить. Олени околевают. А олени околеют, и мы все помрем!»

Мне, в теперешнее время, говорят, что в самоедских чумах завелись красные углы с портретами советских вождей.

Но некоторые самоеды, смелые, можно сказать страстотерпцы, пришпиливают, поодаль от вождей, иконки.

Когда спрашивают у них:

— Чево ж вы святых-то куда-то дели?

Самоеды робко отвечают:

— Да может святые, по своей скромности, не обидятся, что они не в «красном» углу!

САМОЕДСКОЕ БОГОМОЛЬЕ

В бубны бьют, дают сигнал:
Тундра стуже не сдается —
Самоедский бог Ямал
За Югорским шаром бьется.
Собралися на поклон
К богу предков и владыке,
Слышу я со всех сторон
Вой собак и посвист дикий.
По-медвежьему — в мехах —
Едут скопом помолиться
На далеких островах,
Где кричит гагара-птица.

ЛЕДЯНАЯ ПУСТЫНЯ, ОЖИДАВШАЯ ЖИЗНИ И ЖИТЕЛЕЙ,

ОСТРОВ НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Ни день, ни ночь, — а мгла —лиловый вечер вечный,
Пеструшка пробежит, нырнет сова.
Кругом лежат снега. Бреду дорогой млечной.
Нельзя вздохнуть . . . Боюсь, замрут слова!
Какая тишина. Прозрачный воздух льдяный
Дрожит на юг неслышною струной.
Колышется сполох — Господний полог рдяный.
Ковчег плывет — в нем самоедский Ной!



Известный русский путешественник Максимов писал:«Вот что рассказывает об этой земле академик Бер: 'Неизъяснимая грусть овладевает душой всякого человека, даже грубого матроса, при взгляде на эти обнаженные, безмолвные, безжизненные области, где нет ни дерева, ни кустарника, ни даже высокой травы.

Сердце сжимается, но в этом грустном чувстве есть что-то великое, торжественное. Ступайте в середину Новой Земли: перед вами с одной стороны разливается вдалеке безграничное море, а с другой стелется на необъятное пространство пустыня, которая ожидает еще жизни и жителей.

Мне казалось, что настало первое утро сотворения мира, и юная земля, только что отделившаяся от вод, не успела еще одеться в свои пестрые и зеленые ткани и ожидала прибытия жизни.

Но всмотритесь ближе. Здесь уже есть что-то похожее на жизнь на движение. Вот, вдали шевелится одинокий зверек, по воздуху изредка пронесется чайка, или пробежит по земле пеструшка.

Да, этого мало, чтобы оживить картину. Нет шума, нет настоящего движения жизни, — в особенности если посетить Новую Землю в то время когда стада гусей, уронив у озера свои перья, улетят отсюда.

Сказочно-нежный нездешний простор
Снежная мати — широкая тундра.
Радуют путника ласковый взор,
Звезды-снежинки, небесная пудра.

Даже в долгие ясные дни напрасно вы станете прислушиваться: ни одного звука, повсюду могильная тишина. Вся природа как бы в онемении.

Смотря на кустарники, мы привыкли видеть колеблющиеся листья и слышать их шелест. В Новой Земле растение прильнуло к почве так, что и дуновение ветра не досягает его. Оно совершенно неподвижно, как театральные декорации. Вы не отыщете на нем даже насекомого.

Нам попался только один жук «Кризомала», кажется, нового вида. Но кто бы подумал, что в летние дни, в местах согретых солнцем, вы иногда увидите трудолюбивую пчелку. Она едва жужжит, как у нас в сырое время. Мух и комаров здесь побольше, но и их с трудом должно отыскивать.

Они едва летают, едва живут. Не опасайтесь их докучливости: здешний комар потерял даже инстинкт, увлекающий его к человеческой крови, которой нет в заводе на его полярной родине . . .'»

По тундре лето робко расцвело
Всех привечая нежною улыбкой
И днем и ночью радостно, светло,

Какой простор над гладью зыбкой!
Радушным стал студеный океан —
Раздвинув льдины, путь дает поморам,
И корабли из дальних стран
Уже спешат, покорны договорам.

ПОЛЯРНЫЙ ВЕЧЕР

Рога закинув грациозно
Олень летит, как тундры дух.
Сполох висит над тудрой грозно:
К жилью торопится пастух.

У камелька собрались дети
Толпа чумазых тунгусят:
В хозяйском радостном привете
Я ласку тундры видеть рад.

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ КРЕВЕТКИ

Художник Пинегин, полярник, мне однажды рассказывал: «Шестнадцатого ноября 1912 года. Юго-восточный ветер. Три градуса Цельсия. Как-то ночью, производя наблюдения над приливами, я заметил, что вода в проруби загорается фосфорическим блеском всякий раз, когда подносишь близко фонарик.

Приглядевшись, я заметил множество маленьких рачков-креветок. Вода кипела от их движения. Они, как бабочки, жадно стремятся на огонь и превращают воду проруби в клубок путанных ниток фосфорического блеска, вызваного их быстрыми движениями.

Мы наловили мелкой сетью порядочное количество их и пробовали сварить. Увы, в этих рачках почти нет мяса. Их можно только сосать и воображать, что ешь настоящих раков: вкусом они очень походят!»

Я на краю пловучей льдины.
Сегодня в тундре ледоход,
Что сон проносятся картины —
Ажурный, бурный звонкий лед.
В алмазном царстве плен отрада
Смотрю любуяся игрой
И сердцу сладко, сердце радо
Запеть серебряной струной . . .

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ НАД АРКТИКОЙ

ЗАПОЛЯРЬЕ

Я снова буду гостем заполярья,
Со мной не нарты — звонкий авион,
Мне на краю родного полушарья,
Он будет петь вечерний звон.

Воздушный волк я тундры голубой
Над ней взлетевший; новым любованьем,
Цветы живые взял в полет с собой —
Земли улыбку, робкое лобзанье.

Они напомнят льдин весенних гул
Сполохи огоньков в далеких чумах,
Людей проснувшихся, широкий их разгул,
Страну мою . . . В больших и светлых думах.

**
*

Мне кажется естественным отметить первый полет над Арктикой, и вот что Рауль Амундсен в своей книге пишет о нем: «Первым на самолете в Арктике летал русский летчик Нагурский, в целях поисков экспедиции Г. Я. Седова. Гидросамолет Нагурского фарман был доставлен на пароходе «Печора» из Александровска (село Полярное) на Мурмане в Крестовую Губу на Новой Земле.

Нагурский сделал несколько длительных полетов в районе западных берегов Новой Земли, между Крестовой губой и мысом Нассау. Причем, он удалялся на запад от Новой Земли на расстояние ста километров, летая над льдами.

В Архангельск самолет был доставлен тем же пароходом «Печора».

Но миг настал,
Какой-то сдвиг великий совершился,
Взмахнул незримый, огненным крылом!

КАК СТАЛЬ

Над бездной радостно взовьется авион!
В студенный океан, искать поморов —
Погодою карбас их унесен
Далеко от родных просторов.

На берегу тревожная толпа
Пытает даль большим и жадным оком,
Глядит туда, где Божия стопа
Попрала льды в движении широком.

Где Божий перст сполохам указал
Гореть огнем зеленым, белым, алым,
Где холодом и льдами доказал,
Что нужно быть, как сталь, — с закалом!

ВИЛЛИАМ БАРЕНЦ

Баренц глядит в зеленые глаза
Весенней тундры, в розовые щеки,
А сам, задорный, смелый, светлоокий,
Пытливо ждет: «Когда придет гроза?»

Какой извергся радужный вулкан
Какая лава разлилася в мире,
Все больше разъяряясь, жарче, шире
Котлом кипит Студеный океан.

Корабль Баренца, — новый, дивный вид, —
Как белый лебедь над волной взлетает,
Он высится, он лаврами сияет.

Если посмотрим на карту, мы увидим довольно обширное Северное море, последнее из европейских морей, простирающееся от берегов Скандинавии до острова Новая Земля. Оно названо Баренцевым, в память голландского путешественника Виллиама Баренца. И наше Белое море является лишь заливом этого моря.

Художник Пинегин рассказывал мне о Баренце:

«Виллиам Баренц знаменитый голландский мореплаватель, упорно отыскивавший Северо-восточный проход в Индию. Во время своего четвертого плавания на Севере, зазимовал в Ледяной Гавани на Новой Земле. Поврежденный льдами корабль уже не годился для плавния.

Летом 1597 года голландцы, предводимые Баренцем, поплыли на юг в шлюпках. Во время этого путешествия Баренц скончался близ мыса Ледяного и был погребен на берегу. Баренц составил карту всего западного побережья Новой Земли» . . .

ГЕРЦОГ ОРЛЕАНСКИЙ

В моих старых выписках я нашел: — Северо-западное побережье Новой Земли, начиная от Панкратьевых островов, представляет картину почти сплошного оледенения.

Между темными и узкими горными кряжами лежат широкие плоские долины- сплошь, до краев, заполненные мощными ледниками.

И чем дальше поднимаешься к северу, тем меньше и меньше становится черной, не покрытой льдами, земли.

Наконец только вершины гор одиноко стоят среди сплошного ледяного покрова. Вся средина северной оконечности Новой Земли занята сплошным ледником.

Лишь местами виднеется узкая береговая полоса земли, не покрытой льдами. А чаще — это морены, наваленные теми же ледниками.

Герцог Филипп Орлеанский, на судне «Бельчика» посетивший в 1907 году Новую Землю, говорит о величественной, ни с чем не сравнимой, красоте ледяных северо-западных берегов острова, в следующих выражениях: «Теперь, настолько далеко к северу, насколько можно видеть, простирается фронт ледников, синие утесы которых сверкают в лучах заходящего солнца.

Поистине, это самая красивая полярная панорама, которую я когда-либо встретил.

И ледники Шпицбергена, сами по себе величествен-

ные, ничто в сравнении с этими ледниками, простирающимися перед нами в бесконечность к северо-востоку».

**
*

Волшебна айсбергов капризная судьба:
Родившись в синеве, за тундрой голубою,
Они встревожили сполохи за собою . . .
Из радуг вся цветная их гурьба!
Глядишь на них часами — глаз не оторвать, —
На замки, кружево, и серебро и злато . . .

ПОЛЯРНЫЙ ДРАКОН

На дальних островах есть пламенный ледник,
Сползающий к морям чешуйчатым драконом.
Он подчинен небес таинственным законам —
Дробя грызет гранит, как зверь к нему приник.

Его давно влечет суровый материк
Надумал завладеть обширною твердыней,
И вот ползет в огнях, срываясь к бездне синей,
Он вековой борьбой прекрасен и велик!

БУХТА ЖАН

Китоловы

Холодных айсбергов опасный караван
Загромоздил мечтателям дорогу,
Идем в ночи, сторожко, понемногу —
Пред нами голубой, безгранный океан.

Как много впереди волшебных, новых стран,
Тюленьих островов, гагарьих гнезд пуховых.
Морей, приют нам дать готовых . . .
А вот и кит — полярный великан.

Гарпун свистит, за ним стальной аркан —
Короткий срок и кит добычей ляжет,
Команда бойкая его к борту привяжет —
Пронзительный сигнал уже об этом дан.

В дневнике экспедиции Русанова написано:

«6 августа. . . . Как раз против острова Вильяма, находящегося у северного побережья Новой Земли, находится бухта Жан, с очень небольшим, но удивительно красивым ледником.

Легким изгибом спускается он между гор, и прозрачной голубой стеной висит над морем.

Время от времени ледяные утесы с шумом и брызгами падают в волны. И после каждого такого падения на ледяной отвесной стене появляется ярко-синяя свежая рана излома. А на воде новая красивая ледяная гора . . .

Иногда приходится проходить между стаями причудливых льдин, оторвавшихся от старых ледников.

Засмотревшийся рулевой не заметил, как шлюпка, под надутым свежим ветром парусом, подлетела к одной льдине. Раздался треск, некоторые чуть не свалились от толчка.

К счастью удар пришелся в киль, а то, попади льдина своим острым ребром в борт, была бы пробоина, и шлюпка пошла бы ко дну».

КАК ВАСНЕЦОВСКИЙ БОГАТЫРЬ

Пловучих льдов хрустальный звон:
Как будто пир в огромных залах,
И вина в радужных бокалах,
Титаны плещут на балкон.
Дворцы террасами спускаясь,
Порой восходят до небес,
И грозно рушатся ломаясь,
В миг обращаясь в рдяный лес.

ЧАРЫ СЕВЕРА

Стоокий день над тундрой загорелся,
Стожарых крыл я вижу перелив
И океан проснулся, расшумелся —
Гудит прибой, надвинулся прилив . . .

Весною в тундре ветер говорлив,
Крикливы чайки, суетлива рыба —
И даже в море ледяная глыба
Слезой поет, скрывая свой порыв . . .

***

Более современные сведения о заполярье я прочел с большим интересом у писательницы Зинаиды Рихтер.

«. . . Разбирая свои вещи, — повествовала советская писательница Зинаида Рихтер, автор книги путешествия на остров Врангеля, озаглавленой как-то странно и туманно 'У белого пятна', — я нашла на дне чемодана

старый толстый в коричневом переплете том Фритиофа Нансена 'Среди льдов и во мраке полярной ночи'.

Развернув наудачу книгу, прочла строки, написанные Нансеном в одну из полярных ночей:

'. . . Я чувствую потребность возвратиться к жизни. Дай мне вернуться — все равно победителем или нищим, — только дай вернуться, чтобы начать новую жизнь. Здесь проходят годы и что приносят они? Ничего, кроме сухой пыли, которую развеет порывом ветра, и на этом месте находится новая пыль, которую снесет новый порыв ветра' . . .»

И Зинаида Рихтер добавляет:

«. . . Фритиоф Нансен, известный полярный путешественник, откровенно перед всем миром признался в своем дневнике, что льды и полярные ночи подчас приводили его в отчаяние и заставляли раскаипваться . . .»

Читаешь эти нансеновские строчки и думаешь: какие они жуткие и разочаровывающие! Но является вопрос: зачем она сама написала о Севере такую увлекательную книжку?

Я думаю, что Зинаида Рихтер нансеновские строчки поместила для правдивости. Кстати еще сказать: к кому Фритиоф Нансен почти молитвенно обращался: «Дай, дай, дай!», думаю что в душе его и была молитва? Впрочем, не знаю.

Правдивее написал о Севере А. Ф. Лактионов в своей книжке «Северный Полюс», указывая на страничку дневника американского лейтенанта де Лонга, корабль которого «Жаннетта» был затерт льдами у сибирских берегов. В этом дневнике де Лонг поместил: «. . . О зимовке в полярной области хорошо читать у камина в уютном доме, но перенести такую зимовку, этого достаточно, чтобы преждевременно состариться . . .»

Лейтенант де Лонг, тревожась состариться, не пред-

чувствовал своей смерти, которая в скорости его постигла в суровых просторах Сибири.

Жаль, что Лактионов не указал, что в памяти де Лонга остался пролив, названный его именем, и что наши моряки чтут его память. Я же думаю, что́ была бы польза и де Лонгу и всему человечеству, если бы де Лонг умер у камина уютного дома. Де Лонг по молодости и неопытности сделал много ошибок, но искупил их почти мученической смертью. До последней минуты он вел дневник, питаясь кусочками своего кожаного пояса.

Но лучше и правдивее написал о Севере Роберт Пири, один из исследователей Северного полюса, шестого апреля 1909 года, на шестую зимовку, в год своей смерти, когда ему было уже 53 года, после двадцати трех лет борьбы и разочарований.

«...Велика и необычайна притягательная сила Севера. Не раз я возвращался из великой замерзшей пустыни побежденный, измученный и обессиленный, иногда изувеченный, убежденный что это моя последняя попытка: я жаждал людского общества, комфорта, цивилизации и покоя домашнего очага. Но не проходило года, как меня снова обуревало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства. Цивилизованный мир терял всю свою прелесть. Меня невыразимо тянуло туда, к безграничным ледяным просторам, я жаждал борбы с застывшей стихией. Меня привлекали долгая полярная ночь и нескончаемый полярный день. Я тосковал по своим многолетним друзьям — эскимосам. Меня манило молчание и необъятность великого белоснежного одинокого Севера. И опять я устремлял туда свои шаги, все снова и снова, пока наконец мечта моей жизни не претворилась в действительность...»

Вот настоящие правдивые строчки о Севере. Знаменитый путешественник Роберт Пири был поэт и энтузиаст. Таким и должен быть всякий полярник и, вооб-

ще, всякий человек, когда бы, где бы и к чему бы он ни прилагал свою деятельность.

ЗА ТУНДРОЙ ГОЛУБОЙ

За тундрой голубой, где все седое
Есть дивный чум в блистающих огнях,
Оставил я случайное, земное,
Грущу о нем, о прежних светлых днях.

И мысленно стремлюсь в страну метелей
вечных,
В трущобы льдов, хрустальный звонкий лес,
В алмазный плен пустыни бесконечной,
Где в сполохах, безгранный свод небес

Каюр-вожак поет мне песни друга,
А друг-шаман, великий чародей.
Зайдем к нему, как только стихнет вьюга,
Он далеко живет, где вовсе нет людей.

НАД ТУНДРОЙ

Тундра лежит под крылом самолета
Теплой дохою, медвежим ковром.
Славная жизнь моряка и пилота:
Всюду дорога . . . И всюду мой дом!

Горней дорогой грущу об одном:
Хочется к другу, на тундру спуститься.
Льдины горят и снежок серебрится.
Радужным блещет навстречу огнем.

К мысу Желанья, на Новую Землю,
Мною задуман отважный полет.
Теплый прием у зимовщиков ждет . . .
Ходу мотора заботливо внемлю.

МАТОЧКИН ШАР

К Гассерт, в своей книге «История полярных путешествий», писал, что остров Новая Земля часто посещался русскими каботажными судами, задолго до того, как он стал знаком англичанам и голландцам. Дальнейшие исследования этого острова также следует считать заслугой русских.

Рыбаку Савве Ложкину удалось с 1760 года, в течение трех лет и двух зим обогнуть Новую Землю. Подобное мореходное достижение было повторено лишь в 1870 году и рассеяло, наконец, все сомнения относительно островной природы Новой Земли, так как некоторые, ошибочно, считали ее частью нашего материка.

Восемь лет спустя Розмыслов проник в пролив Маточкин Шар, произвел точную съемку и доказал, что Новая Земля состоит из двух островов.

Не менее богаты результатами оба путешествия Пахтусова. В 1832 году он впервые обогнул южный остров и провел вместе с Цвилкою у Маточкина Шара бурную зиму 1834/1835 года, после которой Пахмусов, по прибытии на родину, заболел горячкой и умер.

Следующая зима стоила жизни Цивилке и части его людей. Но эти утраты не остановили русских мореплавателей, экспедиция за экспедицией одолели этот почти стоверстный своеобразный природный канал, местами имеющий ширину в семь верст.

Годы шли, и в начале этого столетия Русанов уже

совершает по Маточкину Шару почти комфортабельное путешествие. Вот что он нам говорит о проливе: «...Кто проходил Маточкин Шар, тот вероятно никогда незабудет удивительной красоты дикой и величественной панорамы, которая там постепенно развертывается. Сколько прелести и разнобразия в сочетании зеленых морских волн с обнаженными и разноцветными горными складками, со снегами и ледниками. Пользующиеся такой известностью у туристов норвежские фиорды тусклы и бледны по сравнению с удивительной яркостью форм и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива!»

***

Сползает с неба глетчер радужным драконом
Рождает айсберги над бездною морской.
Они свергаются стремительно, со звоном —
Как будто тронуты могучею рукой.
Но вот плывут в огнях чудесною толпой,
Что стадо лебедей огромных жарокрылых,
И нету среди них ни праздных, ни унылых...
Как хочется пойти их светлою тропой!

ТУРПАНЫ

Небо, звезды да чайки, да звонкие воды
Змеи глетчеров сползших с небесных вершин,
Скалы вечные стражи суровой природы...
Как велик и могуч океан-властелин.

А душа к неизвестному жадно стремится,
На простор голубой и широкой волны,
Где турпаны летят — небывалые птицы,
Из полярной, из вольной, из дикой страны.

**
*

Известному русскому путешественнику Максимову, один помор рассказывал:

— . . . На остров Калгуев, да на Новую Землю еще шпицбергенские гаги прилетают. И зовем мы их турпанами.

Это — не то тебе утка морская, не то настоящая галка. А прилетает ее на острова несметное число. Сидят они, не кричат, в кругах держатся. А выгонишь их в гору, к сетям, бегут не долго, сейчас отдохнуть сядут. Потому больно жирны и пахнут.

Тут их не стреляй, а то все в растеку ударятся. А гони опять, безотменно в сети попадут. Иногда тысяч пять, а то и все пятнадцать за один раз.

Щипать их только трудно бывает после, твердо, туго, докучливо. Опять-таки оттого, что крепко жирны. Чем больше лодок пущаешь в ход, тем и удачи больше имеем.

Тут вся хитрость подогнать их к берегу. А затем угодишь собрать их в табун, и погонишь. Бегут они, с боку на бок переваливаясь. Боковые покружатся около середних да и устанут. И эти сядут. А там только отделяй, в кучи шестами, по участкам. Да и гони потом в какую сеть пожелаешь.

Идут охотно, без разговоров, словно человек из бани вышел. Да крепко запарился, да на печь полез спать. После того и разговору держать никакого не может.

Верь ты и в этом моей совести, как своей. Врать мне не из чего. Берем мы с гагар и с гагки этой, турпана, подать и яйцами. А яйца эти кладут они в воду. На мелкое место, на холмушки, на травничек.

Тут и собираем, и едим в отменное свое удовольствие. А турпанов другой раз и их щиплем, и их солим, что и гусей же. Штук по сту, по полтораста в одну бочку прячем. С тем и в торговлю пускаем! . .

МЫ СКРУТИМ ОКЕАН

Природа тихо грезит вычурными льдами,
Узоры в дреме ткет капризною стеной:
Соборы где-то, замки и дворцы рядами,
Идут виденьями, неслышно, стороной.

Турпаны вьются: значит — будет бой,
И в море с шумом рухнут грёзы ледяные,
Валы сорвутся гневно, горы водяные.
И с воем ринут в бездну за собой!

Но мы-то бодрые, в смекалке и с усами,
Мы скрутим океан, что лыко, что корье:
В лохматых шапках волчьих — сущее зверье, —
Мы проведем корабль высоко . . . Небесами!

НАД ОКЕАНОМ

Узоры айсбергов колышет океан —
Воздушных замков рушатся виденья
Из сумрачных, глухих, полярных стран
Нависла ночь, сплошной, гигантской тенью.

Железной грудью дышет ледокол,
Могучим плугом режет путь на север.
Хрустальным кактусом торос расцвел,
Сполох горит — большой павлиний веер.

Медведица привстала на дыбы —
Точь-в-точь, как звездная на небе тезка:
За ней пестун, уставший от ходьбы...
А ветер бьет безжалостно и хлестко!

УГОЛЬНЫЙ ГОЛОД

В ночи холодной, долгой, черной,
Есть та же красота, что в ярком южном дне,
Здесь звезды светят также не однѣ,
А целым сонмом над сполохом жарким.

Здесь океан, порой, дает подарки
Такой небесной, пламенной красы,
Такой нездешней, неземной природы,
В таком величии несет седые воды...
А сколько тайн больших схоронено на дне!

(Погоня за углем в полярной области)

Каменный уголь у нас в старину назывался земляным, ископаемым, горным.

И говорили, что это остатки допотопной растительности: лесов и трав, перекаленные под пластами толщи подземным огнем. И, местами, некиим геологическим процессом, даже вывороченные наружу, на поверхность земли.

А также остатки насекомых, животных и допотопных пресмыкающихся. Таким образом, его считали не только растительным, но, в каком-то проценте, и жи-

вотным углем: «Он, де, с жиром всякого гада. Извергнут из самого пекла, из преисподней!»

Долгое время суеверно остерегались его применять. Иной раз и хотелось, но не знали, как с ним обращаться.

Простые деревенские кирпичные печи, в которых весело и уютно потрескивали всякие дрова — и осиновые, и березовые, и сосновые, и, даже, дубовые, каменный уголь сжигал, и совершенно разрушал.

И люди по этому поводу острили: «Нечем чёрту играть, так угольем! Чертятки каленым углем в камешки играют!»

Но потом, как говорится, обвыклись, приспособились, чего-то придумали. И стали его применять на славу.

Помню, однажды, если сказать по Некрасову:

... в студеную,
зимнюю
пору ...

Вернее, в предвидении студеной зимней поры, когда уже дороги заколодило, привез отец домой целую телегу каменного угля, вывалил его в сарайчик.

Маленькую кирпичную печку-лежанку, приляпанную к большой простой печи-старушке, как бы для поддержки, вымазал внутри глиной. Сделал из железного листа поддувало. Сам напробивал на листе дырок каким-то буравчиком. И сказал, что это для воздуха: «Любит каменный уголь хорошую тягу. И чтобы ему снизу поддувало! Будь маленьким некрасовским мужичком, но только — кочегаром! Пока топи лежанку, но каждый раз, перед тем как топишь, выгребай оставшуюся золу и шлак, угольный перегар. Неперогоревшие угольки выбирай из золы. Их можно заново распаливать, они хорошая растопка. Прибавь только немного сухих дровишек. Тогда дело пойдет живо!»

Сказал это и полетел по делам, торопился.

Но все же, в догонку, успел у него спросить, показывая на ладошке уголек:

«Откуда ты выкопал такое диво?»

«На реке Кие, за горами Арчикасскими. У меня своя шахта у Каменного Брода. В старину там Кучумовы татаровья уголь добывали. Да недалеко и Сунджен-ские и Анжерские каменоугольные копи. Уголь у нас до самого преславного города Томска!»

После этих слов отец замедлил шаг, и грустно запел:

Коллега! Я вахты не в силах держать! —
Сказал кочегар кочегару: —
Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах недостаточно пару!

И тихо добавил:

«Тяжко заболел, невмочь! Еду в томскую университетскую клинику, лечиться. А адрес легко запомнить: там где клинья тешут. От слова — клин».

Наша река Кия вливается в Чулым. А Чулым впадает в Обь. А красавица Обь, одна из величайших рек в мире, несет воды свои в Ледовитый океан.

И я обращаю ваш взор на Ледовитый океан, где, будто бы, и ледяная пустыня. Но, вот, тоже, есть и уголь: трудись, добывай, жги, грейся!

Я расскажу вам о погоне за углем в полярной области. И начну с европейских вод, льдов и берегов Северного океана, с Медвежьего острова. История полярных путешествий повествует

«. . . Ценные сведения принесли затем экспедия Натгорста, которая, после восьмидневного пребывания на Медвежьем острове, произвела иные расследования в полярной области».

МЕДВЕЖЬИ ОСТРОВА

Медвежьи острова все в храмах и кремлях
Оставленных неведомым народом
Их берега в пустых забытых кораблях
Окаменело грезят год за годом.
И словно хан какой, суровый Тамерлан,
Ходил сюда, чтоб истребить живое:
Как памятник ему, базальтовый курган
Глядит в века, да в море голубое.
На отмелях лежат больших кротов клыки,
Точивших горы давнею порою:
Так говорят поморы рыбаки
Про мамонтов, лежащих под землею.

А дальше отмечено:

«Открытый Рийпом и Баренцем, в 1596-м году, Медвежий остров, в 1603-м году, был вновь найден английским капитаном Стефен Беннетом, и назван островом Черри.

Два столетия спустя, остров посетил норвежский геолог Кейлгау, превосходно его описавший.

Затем, этот небольшой остров, лежащий на полпути между Скандинавским полуостровом и Шпицбергеном, изучался большинством шведских экспедиций, направлявшихся на Шпицберген.

Капитан Тобиессен провел на острове зиму 1865—1866 годов, и совершил, при этом, ряд метеорологических наблюдений, тем более ценных, что позже никто здесь не зимовал.

Недавно Медвежий остров явился объектом изучения двух немецких предприятий коммерческого характера, задавшихся целью исследовать залежи угля, находящиеся на острове, и рыболовные промыслы.

Одна из экспедиций была выслана Германским Рыболовным Союзом, второю же руководил Т. Лернер.

Последний захватил часть острова и тщетно ходатайствовал о его присоединении к Германской Империи.

Лернер, затем, отказался от своих притязаний, ввиду трудностей, с которыми сопряжена разработка угля.

Станция, основанная Германским Рыболовным Союзом, также бездействует».

Там же отмечено:

«В 1898-м году те же области посетила немецкая зоологическая экспедиция 'Гельголанда', под командой капитана Рюдигера . . .»

Можно полагать, что экспедиция была и на Медвежьем острове.

Я не знаю, чем кончились эпопеи гельголландских и иных зоологических и угольных Рюриков и Рюдигеров на Медвежьем острове.

Кажется капитан Рюдигер трагически погиб, так как медвежий уголь жег и кусался. И, пока еще, леденила великая водная северная пустыня.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ ПОЛЯРНЫХ ОЧЕРКОВ

Будущее

Широк, неогляден снегов кругоем,
Где белые бродят медведи,
Богатства несметные в царстве моем
Угля, и железа, и меди.

Придет человек, застучит молотком
Киркою до недр добираясь,
Воздвигнет заводы в труде золотом —
В плавильнях и горнах купаясь.

В соседстве уместном, ангар и гараж
Украсят пустынные склоны,
Помчатся обозы в воздушный вояж:
Гужом загудят авионы.

* * *

В полярных очерках мы повествовали о чарах Севера, о неведомой притягательной, волшебной силе, которой он обладает.

Это его какая-то таинственная духовная сущность. Величавость суровой природы, дарящей и улыбку, и ласку, и любовь. Люди его населяющие, их необыкновенный дух и быт, этих рыцарей тундры. Все-все таит в себе что-то неизъяснимое и покоряющее.

Но и наука, и торговля, и политика заинтересованы в полярных странах. Многим думалось раньше, что практические результаты изучения этих областей будут значительно уступать научным.

Однако, неисчерпаемые, разнообразные богатства Севера, шаг за шагом обнаруживаемые попутно с научными исследованиями, их добывание и использование, говорят о том, что Север и, вообще все полярные области, приобретают все большее и большее значение.

Правда, завоевание Севера требует больших жертв. Но человечество где не приносило жертв? И пирамиды Хеопса, и Суэцкий канал тоже чего-нибудь стоили!

И в Африке народу погибло значительно больше, чем на всех необъятных пространствах Арктики и Антарктики.

ПОЛЯРНЫЙ ЗАВЕТ

Сполох горит негреющим огнем,
Но в сердце теплота, душа согрета чем-то.
Я в тундре не один —
Великий Властелин
Зажег огни,
И светит мне зачем-то!..

Сполох горит пророческим огнем,
Большою перламутровой скрижалью.
Читаю заповедь о нем:

— Любите дальних даже,
Теплым очагом
Встречайте их,
Радушно,
Не с печалью.

ГЛАВА II

ЗА УРАЛ-КАМЕНЬ

В СЛАВГОРОДЕ

Если бы вы, в старое время, перешли Урал-Камень, мимо огнедышащего Златоуст-града, слева от вас была бы гора Железная, с ветхим деревянным крестом на вершине, распятием Христовым. Дальше — Челя́ба! На казенном языке, и в книжках, она называлась городом Челя́бинском, откуда начинался Великий сибирский путь, идущий великой равниной на Дальний Восток, связующий Атлантический океан и океан Великий.

Совершив часть своего путешествия по железной дороге до города Татарска, вы могли сесть в повозку и отправиться на юго-восток. Большой почтовой дорогой, степным трактом, где перед вами, во всей своей красе раскрылась бы чудесная панорама бескрайних степных просторов.

Верст через четыреста вы оказались бы у огней южной красавицы, столицы сибирских степей — Славгорода!

Славгород возник на моих глазах.

Однажды ехал я вот этим самым трактом, и почуял запах падали.

Обратился к ямщику, а он меланхолично заявил:

— Зима ныне была суровая, а весна дружная. Вот по распутице и хлюпаем. Снежок еще не всюду растаял, в па́дях притаился. А на берегу Мёртвого озера припекло солнышко, вот и пованивает. Табун этой зи-

мой там погиб от гололедицы и бескормицы. Голов с тысячу!

Едем мы, едем... Вижу показались воды Мёртвого озера. Свернули к нему с большой дороги на перекрещивающиеся проселки. Потоптались на костях зимней птицей поклеванных, зимним зверьем обглоданных. Спрашиваем наших коней:

— Ну, что... други? Как вы на это смотрите?

Кони косят глазами, пугливо и недоумевающе. От озера пятятся, похрапывают. Двинулись мы дальше в степь. Минули и Розенфельд — розовое поле, и Розенштерн — розовую звезду. И затерялись в степи!

Сколь уж лет прошло. Пробираюсь я опять из города Татарска в южные наши степи.

Зима лютая. Наезжаем в сумерках на странные силуэты: стога, не стога, овины, не овины.

Стоят автомобили, крытые зеленым брезентом. Везли какую-то кладь, по дороге застряли в снегу. Не помогают и цепи на шинах.

Спрашиваем шоферов:

— Далеко ли до жилья?

— Ночуйте с нами! Мы люди уютные, может до весны тут провозимся. Будем ждать, пока не растает!

Свернули мы с тракта, объехали их. Мороз крепчает. А ямщик не облучке ликует.

— Замашинились сердешные, конишками пренебрегши! Теперь им по пешему хождению, не иначе!

Веселей стал погонять своих замаянных конишек, и вскоре мы увидали сперва чудесное серебряное зарево, а потом сказочные огни бельгийской электрической компании, — алмазы в снегах, — когда-то Мёртвое озеро, город Славгород!

Мимо почтовой станции и синема, свернули к большому каменному собору, отыскали домик батюшки, отца Иоанна Кожемяки, и постучали в ворота. Час был

еще не поздний и мы попали прямо к ужину. Будто его предвидели. Я поспешил первым сесть за стол, чтобы спрятать закоченевшие ноги, которые были невпорядке. На них развалились сапоги.

Застенчиво лепечу батюшке:

— Нет ли у вас поблизости сапожника?

Он улыбчиво отвечает:

— На досуге и я сапогочинением занимаюсь. Как и наш уездный отец благочинный.

Да вот сейчас придет и третий сапожник, немец, святое имя его Иоганн. Возьмем по сапогу и мигом подладим. В обновке с ним же и поедете. Он вам попутчик. Теперь сельским писарем служит у немцев-колонистов. А приезжал к нам в волость по делу!

Когда пришел Иоанн, сел отец Иоанн с ним за свой низенький сапожный столик. Сидят, склонились друг над другом. У каждого по сапогу. Стучат молоточками, шильцами подковыривают.

А в стену дед-мороз дубинкой бьет. В окошко снежные иголочки тычет. Святой человек Иоганн говорит:

— Где он дубинку добыл? У нас, в степи, и вербного прутика не найдешь встретить Христово Воскресение!

Не иначе, как из тайги пожаловал. Там дéрева хватит, да мало деду-морозу места. Негде разгуляться. Вот он к нам в степь и притащился!

Оживился святой человек Иоганн. Подает мне готовый сапог, а сам обращается к батюшке:

— Вы бы рассказали, отец Иоанн, о своем предке Кирилле Кожемяке!

Батюшка смущенно говорит:

— Да что рассказывать! История повторяется. В лето не столь благоприятное, от сотворения мира шесть тысяч пятисотое, пошел Володимер-князь на хорваты.

Придúть бы ему с походу хорватского, к себе домой,

в золотой, светлый терем. А вот печенеги пришли к реке Суле.

Володимер пошел противу им, встретил их уже на Трубежи-реке, на броде, где нынче Переяславль-град.

Стал Володимер на сей стороне, а печенеги на оной — не смеют перейти реку.

Подъехал хан печенежский к реке, кричит князю:

— Выпусти ты своего богатыря, а я своего. Пусть борются. Если твой богатырь победит, не воюем три года. Если мой одолеет, будем воевать!

После этого князь и хан воротились по своим станам.

Володимер послал по Святой Руси своих гонцов:

«Нету ли такого человека, который бы мог биться с богатырем печенежским?»

Гонцы туда-сюда, не нашлось нигде. Где взять такого человека?

Поутру приехали печенеги, своих богатырей привели. А у нас ни одного богатыря нету. Может и были, а поразъехались куда-то. В чужу дальню сторону. А может в поле полегли на каком-либо побоище.

Начал тужить Володимер-князь, обращаясь к своей рати.

Но вот пришел к князю один старый воин, поседевший в походах и боях, говорит ему:

— Княже! С четырьмя сыновьями я вышел на поле брани. Пятый, самый младший, остался дома.

С детства он имеет непомерную силу. Но я его взять не решился. Он не знает воинского дела. Сидит в селе кожемяках, под Киевом, обрабатывает кожу. Этим мы живем!

Володимер-князь обрадовался, что нашел силача. Велел привести Кожемяку и сказал:

— Не беда, что не знает ратного дела! Подучим!

Ночью обрядили его в воинские доспехи, утром думали обучать. А чуть свет понаехали богатыри пече-

нежские. Кричат, похваляются. Услышал Кожемяка тревогу в стане. Поскидал с себя доспехи и как был в овчине, перешел брод и вышел против печенежского богатыря.

— Вы у нас за Днестром-рекой нашего князя Святослава перехватили. Из его черепа круговую чашу сделали и вино пили. Не выдадим Володимера-князя. За него постоим. Будете пить вино из своих черепов, тем и бахвалиться. А вам вино пророк Магомет запретил!

Увидел печенежин против себя Кожемяку, стал смеяться над ним. Был Кожемяка заурядный парень, хоть и не тщедушный, телом и ростом средний, но велик душой. Прочел Кирилл Кожемяка печенежину из псалтири:

«Помяни царя Давида
и всю кротость его!»

Мигом схватил руку богатыря, с занесенным над ним вострым копьем, и сбросил богатыря на землю.

— Из земли ты вышел и в землю обратишься!

Печенеги видя, что и неказистые люди Володимеровы побеждают богатырей, дрогнули. Володимер-князь двинулся на них со своей ратью и прогнал их в Дикое Поле киммерийское, откуда они пришли.

В память этого Володимер-князь заложил град на броде том и назвал его Переяславлем, так как на этом месте была перeята слава печенежская.

Под Киевом и до сей поры сохранилось урочище именуемое Кожемяки, где старый воин Володимера-князя жил с пятью сыновьями своими. А я, от младшего его сына Кирилла происходящий, живу вот здесь, в Славгороде. Как бы опечене́жился, ничью славу не перенимая.

Имя Кирилл по-персидски означает солнце. Имя это любимое нашим народом, как и прозвание Володимера-

князя, которого народ и по сие время считает Красным Солнышком, вспоминая его в песнях и былинах.

В Святцах, от четвертого мая, упоминаются святые братья Алфановы. Среди них Никита и Кирилл. В некоторых преданиях народных эти имена смешивают и Кожемяку, боровшегося с печенежином, иногда называют Никитой.

Во времена первохристианские, среди сорока мучеников в озере Савостийском погибших, было и святое имя Кирилла.

Был еще святой Кирилл архиепископ Иерусалимский и Кирилл-диакон умученный с иными прочими.

Вспоминает Церковь и святого Кирилла Белоозерского, подвизавшегося в шестнадцатом столетии.

Я же, многогрешный, на Мёртвом озере пребывая, на убогом досуге, занимаюсь сапогочи́нением, в память предка моего, Кирилла Кожемяки. Сам он в ла́потухах вышел против печенежина, закованного в железо.

Старая пословица говорит: «Сапожник без сапог!» Продавал Кожемяка Кирилл, с отцом, старым воином Володимера-князя, выделанную кожу, чтобы иметь хлеб насущный!

Рождественские каникулы я провел под Алтаем, в городе Барнауле, в самом конце уезда, к которому принадлежал Славгород, как волостное село.

Гостил у друга детства, в горном училище, преобразованном теперь в горный институт.

Я учился в Омске, в механико-техническом училище имени Императора Александра Третьего, и меня интересовал музей горного училища, где была модель первой в мире паровой машины. Машину изобрел наш механик-самоучка, горнорабочий Ползунов. С его легкой руки, теперь вся Сибирь испещрена железными дорогами и проведена магистраль, знаменитый Турксиб, линия, соединяющая Сибирь с Туркестаном. Оттуда мож-

но попасть и в Индию, и даже к Индийскому океану.

В Славгород я вернулся после Рождества Христова, на Святках. Было это в вечерние сумерки и меня поразила необыкновенная картина. Я ехал по волшебной аллее, состоявшей из елок и елочек уже отблестевших и отслуживших свою праздничную службу по домам обывателей.

Славгородский волостной старшина распорядился, чтобы елки разместили по степному тракту, большой почтовой дороге, вместо путевых вех.

Жители охотно исполнили это оригинальное приказание. Многие из них елочки выставили с оставшимися украшениями и даже подарками. На некоторых горели свечки и цветные фонарики.

Сельская беднота и проезжие мужики на этой аллее устроили настоящий степной рождественский праздник. Была музыка и танцы, и отчаянно били в барабаны. Один парень, в вывороченном тулупе, изображал медведя, другой козу, третий длинноногого и длинноносого журавля. Был он на деревянных ходулях, рукав полушубка составлял шею журавля, а журавлиный нос — пастушеская палка, приветливо устремленная в небо, где сияли настоящие рождественские звезды.

Через дорогу прошмыгивали белые зайчики и посидев под елочкой, и навострив ушки, мчались дальше в степь. Прилетали зимние пташки, нарядные как цветы или мотыльки и что-то щебетали картонным позолоченным ангелам. Заглядывали в игрушечные домики, висевшие на елочках, смотрели — нет ли там чего съестного.

Подарки, состоявшие из пакетиков, кулечков, корзиночек и сундучков сельская беднота и проезжие мужики быстро разобрали без ссоры и давки, с веселыми шутками.

Приехав к отцу Иоанну Кожемяке, я сразу же вру-

чил ему книжечку с малиновой, как маков цвет, обложкой. Книжечка была озаглавлена «Сказание о Кожемяке», где я изложил все, что нам батюшка рассказывал о своем предке.

— Вот, батюшка, распространяю эту книжечку в степи, чтобы оправдать вашу неблагозвучную фамилию!

Батюшка смущенно ответил:

— Чем же я не благозвучен? Кожемяка?.. Кожемяка и есть! Таким и останусь. С народной молвой не поспоришь! Ну, давайте, давайте! Спасибо! Подарками нельзя пренебрегать! Тем более такими искренними и сердечными!

Немного погодя я вручил отцу Иоанну Кожемяке еще маленькую книжечку своих стихов, называвшуюся «Снежная псалтирь». Она была только что напечатана в одном степном городе и еще пахла типографской краской.

Пред нами снежная псалтирь,
Снега поющие над степью.
И степь, во всем великолепьи,
Раскинулась и вдаль, и вширь.
Над нами светлый богатырь,
Стремящий бег в полночны страны...
И конь, ступив за океаны,
Как жар-цветы взметает снег!

Закончу эти строки из той же «Снежной псалтири».

В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА ГОСПОДНЯ БЛАГОПРИЯТНОГО

Снег, как морская волна,
Иней, как пепел.

Жизнь, все мирские дела,
Жжет и метелицей треплет.
Скоро настанет тепло, —
Лето в дыханьи Господнем, —
Мир, как заоблачный дом,
В радости вешней сегодня!

БАРГУЗИН

«По диким степям Забайкалья,
где золото роют в горах,
бродяга судьбу проклиная,
тащился с сумой на плечах...»

(Сибирская песня)

«Баргузинская тайга,
смелым людям помогат:
горы дикие взрывай,
людям злато добывай!..»

(Из песен сибирских
золотоискателей),

«Эй, баргузин, пошевеливай вал: плыть молодцу недалечко!..»

Эти слова взяты из сибирского гимна «Славное море, священный Байкал».

Быть может, вы спросите, что такое баргузин?

На Байкале большое значение имеют два ветра: — култук и баргузин, называемые так по селам, от которых они направляются.

Култук — южный, очень холодный и сильный ветер, дующий через тункинское ущелье. Вырываясь из него, он свирепствует преимущественно зимой, принося страшные бураны и метели.

Баргузин — северо-восточный ветер, тоже холодный, дует осенью, подымая ужасающие бури на Байкальском море.

Само село Баргузин, глубоко в горах затерявшееся, мало чем отличалось от других русских сел, разбросанных по всем побережьям.

Достопримечательностью его могли служить разве только полуразвалившийся дом и могила сосланного сюда Кюхельбекера, товарища Александра Сергеевича Пушкина по царскосельскому лицею.

В мое время, как дом, так и могила были еще в хорошем состоянии. Местные жители, баргузинские крестьяне, охотно их показывали. Старики трогательно вспоминали и рассказывали о «добром и хорошем барине», каким они считали покойного Кюхельбекера. Случайно у меня сохранились стихи, когда-то мною написанные, и посвященные памяти Кюхельбекера:

В селе сибирском Баргузин,
ютился домик с мезонином,
где Кюхельбекер скромно жил.
Я приходить туда любил
в минуты горестной печали . . .

Этими строками я тогда исправлял ошибку Александра Сергеевича однажды сгоряча высказавшегося о произведениях Кюхельбекера, что они «и кюхельбе́керны и скучны». Впрочем, это не мешало Пушкину любить Кюхельбекера.

В общем все байкальские села, в том числе и Баргузин, как писал С. Алисов, автор очерков «Сибирская Швейцария», были гораздо богаче и культурнее российских сел.

У населения вы не встретили бы такой забитости, приниженности, скрытого недоверия и недоброжелательства, как у российских крестьян.

Наоборот, к вам всегда относились бы радушно, с добродушным любопытством и доверчивостью, и совершенно как к равному.

У здешних крестьян было больше деловитости, смышленности и, как это ни странно, грамотности и развития.

В старые годы здешние места служили местом ссылки. В 1775 году в Забайкалье были сосланы участники пугачевского бунта: уральские и яицкие казаки.

В 1826 году на Байкале появились декабристы, братья Михаил и Вильгельм Кюхельбекеры. Об одном из них я уже упоминал.

В Селегинске поселились Николай и Михаил Бестужевы и Торсон.

Позже прибыли польские повстанцы, часть которых жила в Томской губернии, в нашем маленьком тихом городке Святой Марии — Мариинске. Среди них были и потомки польских королей. Я помню обширное польское кладбище с величественными мраморными мавзолеями и убогими полусгнившими крестиками.

Кладбище уходило в леса и поля, где к нему приютились и могилки мусульман, буддистов и евреев с своеобразными надписями и священными украшениями.

Неподалеку, под небольшим холмиком, лежал шаман. На холмике был миниатюрный кочевой шалашик, а над ним висел шаманский бубен, улыбавшийся как солнце всем почившим.

В просвещении местного населения, а также бурят и других народов, некоторую помощь оказали многочисленные ссыльные, явившиеся вестниками культуры.

Декабристы положили начало изучению местного быта. Обучали население грамоте и ремеслам. Показали лучшие способы ведения земледелия и скотоводства. По их инициативе, в монгольском городе Кяхта, появилась первая сибирская газета.

Нельзя отрицать и того, какую службу сослужили русские монастыри, миссионеры и даже отдельные при-

ходские священники. Вот вам бурятская духовная песнь «Мунку-Сардык»:

Култукский
русский священник;
каждое лето
на священной
снежной горе
Мунку-Сардык
молится.
С ним
и наши буряты
богомольствуют!

Местом восхождения на Мунку-Сардык служил очень живописный водопад на реке Быстрой. Восхождение занимало почти два дня и было утомительным и опасным.

С горной тропы открывались чудные виды на море, синие горы, темные глубокие ущелья.

На одном повороте был виден Мунку-Сардык, несмотря на летнюю пору весь белый от снега — ярко возносящийся к небу.

В русских монастырях устраивались школы грамоты, ремесленные училища, детские приюты, богадельни для престарелых, учили живописи, а также имелись обширные библиотеки и читальни, где можно было получить книги, не только духовного содержания, но и по сельскому хозяйству, ремеслам и прочему. Триста пятьдесят лет тому назад, на монгольском языке, было напечатано первое Евангелие.

Нельзя не упомянуть и о значении буддизма, проникшего на Байкал из Тибета. Главою всех русских буддистов, даже обитавших на территории Европейской России, сперва был настоятель Байкальского монгольского дацана-монастыря.

Когда его провозгласили хамба-ламой, он перенес свою резиденцию в волшебный сказочный край Хамар-Дабар, с давних времен опоэтизированный бурятами. Мне запомнилась маленькая бурятская поэма:

Байкальские
поющие лебеди
за темно-синими
горами Хамар-Дабар
станом стоят
на неведомом
озере.
Там их вольное
царство,
в темно-синей
тайге Хамар-Дабар!

Удивительно, что в тайге Хамар-Дабар никаких других певчих птиц не было. Буряты это объясняли уважением птиц к царствовавшим лебедям. Надо все же отметить, что древнейшей религией бурят был шаманизм, местами сохранившийся до самой революции.

Они представляли всю природу одушевленной и обоготворяли различные явления ее. Огонь считался сыном бога Эсэга-Малан-Тэнгэри и младшим братом солнца и месяца. Буряты также почитали горы и делали на них из камней священные насыпи, своего рода жертвенники, куда приносили подарки духам гор: вещи, еду и всяческие возлияния.

Самым древним бурятским народным праздником был праздник Сур-Харбан, что по-русски означало «Стрельба из лука». Обычно он устраивался весной и на него отовсюду съезжались тысячи бурят.

Главным моментом праздника были состязания. Вначале происходили состязания в стрельбе, давшие и само название празднику. О нем я когда-то писал:

Весенний праздник
Сур-Харбан,
по-нашему:
«Стрельба из лука»!
Цветной ковер
бурятский стан,
с зимой
веселая разлука.
И бег чудесных
рысаков,
их неизменное
желанье —
взлететь
до самых облаков
меча оттуда
солнца пламень!

Жизнь всюду жизнь и все зависит от того, кто и как ее воспринимает. Даже скупая бурятская весна дает свои радости.

Байкальская горная тайга весной украшается богатым по краскам цветочным ковром. Около половины мая зацветает богульник, особый вид кустарника, похожий на жимолость или жасмин. Цветет он большими розовыми цветами. Богульником обильно усеяны приморские горы, так что в мае, от несметного множества цветов, они приобретают розовый цвет, что в соединении с зеленовато-синим тоном моря дает чрезвычайно приятную гармонию.

Расцветает богульник
светлой радостью мая:
розоватые ульи
склоны гор украшают.
Каждый куст устремленье
к бирюзовому небу,

будто гимны хвалебны
и святые молебны
в неземном ликованьи.

К июню, в горах, в богульнике, кричит девушка своему милому, окликая его по имени: «Багуня».

И старики, слыша в горах перекличку молодых голосов, добродушно шутят:

— К июню и багульник, что пчелиный улей. Цветет багульник, чтоб люди проснулись!

Любуясь красавицей Ангаро́й, уже освободившейся от ледяных оков, расскажут вам маленькую легенду:

Любимой внучкой Ангара́
была у дедушки Байкала.
Пришла весенняя пора
и Ангара́ умчалась.
В лесную глушь,
в лесную даль,
развеять зимнюю печаль!..

И, вздохнув, добавят:

— Пора пришла и Ангара́ пошла!

Расскажут вам о печали Байкала:

Волшебные гривы Саянов,
ушедшие в синюю даль.
К черте́ голубых океанов
унесшие нашу печаль.
И воды Байкала тоскуют,
уйти б им на вольный простор,
где райские птицы ликуют,
где радужных звёзд кругозор!

Какому-нибудь ученому невежде, объяснившему из учебника географии, что Байкал лежит на пятьдесят футов выше уровня моря, пошутят о зимнем Байкале:

— То не горе, что Байкал лежит выше уровня моря, а то беда, что не вылазит изо льда. Лежит в теплом полушубке и, для потешки, ледяные орешки хру́пкает. А ты голышём на саночках езди над его бездной . . .

Действительно, некоторые местные жители рассказывали невероятные истории, говорили, что Байкал не имеет дна или что его глубина доходит до трехсот верст, что на дне находятся целые города и прочее.

В мое время глубина Байкала не была еще точно измерена. Предполагали, что она, в некоторых местах, доходит до трех верст, но это всем казалось преувеличенным. Во всяком случае, он глубок.

При его глубине и протяжении в длину до семисот верст, он, с прилегающими к нему реками, изобиловал всевозможной рыбой.

Были даже летучие рыбки. Выпорхнув из прозрачной изумрудной воды, они, как птички или бабочки, грациозно взмахивали крылышками улыбаясь солнышку, и вновь исчезали в морской глубине.

Но больше всего добывался омуль, рыба в три раза крупнее большой селедки, лососиной или сиговой породы.

Не удивительно, что омуль попал даже в сибирский гимн: «. . . Славный корабль, омулёвая бочка!»

Впрочем пессимисты иронизировали, высказываясь, что и омулевая бочка бывает с червото́чинкой.

А иные сравнивали омуля с омнибусом или с другими сомнительными способами передвижения:

Ты не трусь!
Говорю, не божу́сь:
омуль, что омнибус
или архирейская карета.
Мигом домчит
на край света!

Конечно, большей частью неодобрительно отзывались о российских каретах: когда-то доедет, да что-то будет, да и доедет ли?

А наше духовенство было передовым. Один владыка, человек святой жизни, был изобретателем зимнего возка, представлявшего собой маленький домик, или, если хотите, келью.

В одном углу у него была божничка с образами и библиотечкой и даже с лампадкой. В другом — печка с кое-какими кухонными принадлежностями. В третьем — походная амбулатория и больничная кровать для больного, если в пути попадется какой-нибудь болящий или немощный человек.

Это не то что американский епископ, поехавший проповедовать и по дороге съевший свои собственные сапоги, так как заблудился и долго скитался в снежной полярной пустыне.

Или другой американский епископ, летающий, попавший на авионе к полярным льдам, откуда пришлось брести пешком и голые ноги закутать в оторванные полы рясы, так как он дорогой сапоги потерял.

О рыбе омуль можно собрать материала на целую книгу — и рассказы, и сказки, и стихи, и поговорки, и пословицы: «Не бойсь, у нас на Байкале есть и свой лосось. Да не гляди на него и́скося — обидится!»

Перед осенью любят говорить, как в августе месяце омуль идет целым руном под мелким холодным дождем, который называется «моросом»:

— В омулево погодье омуль из Байкала в реку Селенгу́ уходит. Тогда и лови без греха: на Селенге́ уха!

Но наставительно приговаривают:

— Омулятина, хоть и не телятина, а надо знать, как ее достать!

Даже о мелком омуле, называемом омулевкой, шутят:

— Омулевка лежит в мелочной лавке и щебечет: я хоть и маленькая рыбка, а гибну с улыбкой!

Кроме рыбного промысла у бурят существовал охотничий промысел, отдельные ремесла и домашняя промышленность.

Кузнецы изготовляли орудия охоты и военного снаряжения, а также предметы быта — котлы для варки пищи, ножи, конскую сбрую. Делали из серебра украшения для женской одежды, изготовляли кольца, браслеты и были особо почитаемыми мастрами в отличие от других.

Буряты верили, что души великих шаманов, хороших стрелков и кузнецов, после смерти, живут у Хозяина Неба.

В охотничьем промысле все горные хребты, места по речкам и ключам, были распределены между отдельными семьями, пропорционально количеству душ. Владельцы этих мест составляли артели. Наиболее древней формой охоты, объединявшей большое количество людей, являлась облавная охота.

С охотой были связаны различные поверья и обряды. Во время соболиной охоты был особый «соболий праздник». Первого убитого соболя не вносили в дверь, а подавали в особо прорубленное окно, говорили:

— Аильчин прэбэ! — то есть «гость пришёл», чем подчеркивалось особое уважение к этому зверьку. Охотника убившего первого соболя, товарищи встречали с особым почетом.

Подавая соболя в оконце пели:

Соболь, соболь, соболек,
посети наш теремок.
Нынче именины
шубки соболиной!

Соболя принимала молодая девушка в собольей шуб-

ке, олицетворявшая «соболий праздник». После этого пели о красоте и собольих бровях шубки соболиной, и ее бабка-нянка махала в дверях соболиным одеялом, приговаривая:

Соболино одеяльце в ногах,
да подушки в слезах.
Хочет на волю
и мы ее не неволим!

Вдруг откуда ни возьмись являлись сорок соболей в собольих шапках, сорок охотников-женихов — на выбор, один краше другого. Они, так сказать, составляли комплект на целый соболий мех. У нас соболя считались сорока́ми, то есть их подбирали по сорок штук.

Взявшись за руки, охотники составили широкий круг возле охотничьей избушки. Раскачиваясь они начинали петь старинные охотничьи песни, в которых главное место занимал соболь, тогда считавшийся самым ценным сибирским мехом.

Но сперва они пели прощальную «сопроводительную песнь» первому убитому соболю, приподнесенному принцессе соболиного праздника, собольей шубке. По их убеждению душа этого соболя отправлялась к Хозяину Неба.

О соболином празднике и о хищном зверьке соболе, в народе было много всевозможных шуток. Некоторые люди иногда говорили:: «На мне шкура и не черного соболя, но я ею доволен!» О человеке, отправлявшемся в дальнюю ссылку, грустно поговаривали: «Соболь да куница бежит да дрожит, а серая овечка дома лежит!»

Я забыл добавить, что после кругового танца охотников, к ним выходила бабка-нянка собольей шубки и пела им:

Детки мои
соболятки мои!

И приглашала охотников в гости. Кончалось это свадьбой, а свадебные обряды имели свою прелесть. В них главным персонажем был олень — золоты́ рога́.

Буряты также охотились на изю́брей. Главной целью охоты являлась добыча рого́в-па́нтов, которые служили предметом сбыта в Китай, где они шли на приготовление дорогих лекарств. Изюбрье мясо ели, а кожа шла на различные изделия. Изюбря обычно подкармливали на солонцах, где охотники устраивали засады на небольших помостах, называвшихся лаба́зами.

Осенью применялась охота на «рев», при которой охотник приманивал изюбрей, подражая их голосу при помощи берестяной трубы.

Весной, в конце апреля, вообще неглубокая река Ангара́ мелела. Этим временем пользовались стада изюбрей, перекочевывавших на лето с южного на северный берег Байкала.

Тогда можно было наблюдать поразительную картину. Рано утром, чуть только зарумянится восток, начиналась переправа. Еще почти темно. Только на востоке разгорается полоска зари, золотыми искрами рассыпаясь в легкой зыби реки.

Синие горы, словно пологом, покрыты густым слоем тумана, длинными седыми полосами растянувшегося по хребтам. Кругом тихо. Слышно биение сердца. Изредка всплеснется рыба.

Пролетит птица, свистя крыльями, и опять все смолкло. Легкий ветерок чуть-чуть шелестит ветвями березок.

Но, чу! Треск! .. Ещё! Слышно шуршание, осторожные шаги! Из тайги на берег реки легкою поступью выходит красавец изюбрь, необыкновенно изящный с густой гривой на груди.

Осторожно понюхав воздух и оглядевшись кругом, он спускается к реке. Минута — и воздух оглашается

могучим ревом. На зов вожака из тайги, так же легко и осторожно, выходят остальные.

Постояв секунду на берегу, каждый делает легкий прыжок и пускается вплавь. Немного погодя, прыгнул последний... Как бы замыкающий эту изумительную переправу.

На реке, постепенно удаляясь к противоположному берегу, виднеется вереница голов, украшенных ветвистыми рогами.

Увы! Местные жители пользовались этим для охоты.

Присоединение бурят к русскому государству, а также других многочисленных народностей Сибири, было добровольным.

Это и явилось причиной того, что русские быстро продвигались, распространяясь по всей Северной и Средней Азии и Дальнему Востоку, лишь местами встречая препятствия.

Русские пришли, как освободители от разрушительных феодальных междоусобиц и всяких завоевателей, к тому же неся с собой высокие формы культуры. Все это отвечало насущным интересам народов Азии. Нужно не забывать, что Байкал был родиной Чингиз-хана. Характер присоединения Азии к России и прогрессивность этого явления отмечены даже советской наукой. Но не было понято нашими и иностранными историками и до последнего времени они толковались, как завоевание и насильственное присоединение. Даже Карл Маркс писал в свое время, что продвижение русских в Азию имело высокое культурное значение и сослужило большую службу человечеству, включив в общую культуру те пространства, которые называются Русской Азией.

Уставом Сперанского, нашего великого государственного деятеля, в 1822 году буряты были причислены

к кочевым народам Сибири и получили самоуправление в виде так называемых «степных дум». И в мое время существовали карты русской Азии, где было с четко обозначенными границами указано: «Земли кочевых народов», как что-то совершенно неприкосновенное. Расселение же русских на этих пространствах, по соглашению с народами, носило добровольный характер. В теперешней Тувинской республике, в мое время считавшейся территорией Китая, а у нас называвшейся Урянхайским краем, русские жили имея свои храмы и духовенство, а также свое самоуправление и... царскую полицию, во главе с приставом, подчинявшимся Минусинскому уездному исправнику, что встречало лишь поощрение китайских властей, которым русские платили подати. В сущности же, в этом месте, у нас с Китаем никакой границы не было. И если это кого раздражало, то только завистливые иностранные государства, а не нас и не Китай.

Своим существованием, как великой державы, мы многим были обязаны Китаю, с которым находились всегда в добрососедских отношениях. Теперь на Байкале и у бурят новая жизнь и новый быт — многое изменилось!..

Важной отраслью хозяйства бурят стало земледелие. Кочевое и полукочевое существование отходят в область преданий. Возникли фабрики, заводы, радио. Но старая романтика не вывелась:

Как ветер мой быстрый конь,
как ветер, дующий с гор.
В моих очах неукротимый огонь...
Что опустила взор,
какой скажешь укор?..

Вдоль побережья Байкала от реки Большой Чивыркуй до мыса Гулекан тянется Баргузинский заповедник.

У села Баргузина создана соболиная ферма по выращиванию соболя. Здесь же воспитываются голубые песцы́, вывезенные с Дальнего Востока. Организованы охотничья и рыболовная станции. И неизменно поют старинную песню:

За рекою Барнузи́ном
ярче звёзды,
путь светлее, веселее,
ночь морозней.
За рекою Баргузи́ном
больше воли,
но и нашими местами
со простыми огоньками
будь доволен!

В ШЕЛЕСТЕ ОСИН

Шелестят и травы, и цветы,
шелестят дубовые листы,
а, порой, и малые былинки.
Но нежнее шелеста осинки
в целом мире не отыщешь ты!

Вопил мужик тощий:

— В осиновой роще не заведутся мощи!

А старцы гудут:

— Тебе дубовые принесут, а и те не спасут. Ты от осины не тычься, всюду Господне величие!

Порою у нас в народе, некие люди сказывали:

— Осина проклятое дерево, на нем Иуда удавился и с той поры осиновый лист дрожит. На осине и по сейчас кровь, кора под кожей у нее красновата!

— У нас одна ягода, горькая рябина. Одно дерево, горькая осина!

Но всё же как-то осинникам обжились и к осине как-то приспособились.

На осину заговаривали лихорадку и зубы, вырезывая перочинным ножичком треугольник в лучинах с Оком Всеви́дящим и начертав святую молитву: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», усердно крестились, прося у Господа Бога помощи.

Коли у кого сводило ноги от ломоты, или какой иной немощи, больного клали в постель, а в ногах укладывали осиновое полено. А от головной боли подсовывали полено под головы. Вовкула́ка, ведьму, знахаря, когда они по смерти, как неприкаянные скитались в тайге по селам и весям, и чего-то колобро́дили, наводя на лесной люд суеверный страх, таежники шли на кладбища и на могилах этих пособников нечистой силы, для их успокоения, ставили осиновые колы, ласково уговаривая:

«Лежи, покойся,
людей не беспокой!
Господь все знает,
все видит . . .
Тебя не обидит,
грехи твои простит!»

Особенно необщительные таежники, непрошенным и неприятным гостям угрюмо ворчали:

«Ладило бы вас на осину,
а не к нам на именины!
Откудова знали,
что именниник Ваня?
В тайге Иванов,
что грибов поганых! . .»

Но красным грибочками-подосиновиками не брезговали. О них в народе ходило много веселых прибауток:

«На осиновой дудочке
играет пастушок.
Дудочку услышал
подосиновик грибок.
Скок, поскок —
прямо в кузовок!»

А вот другая:

«За осиновым дуплом
древние хоромы
дедушки Пахома.
Подосиновик грибок
и веселый пастушок
веселят хоромы
дедушки Пахома!»

Ладили переселенцы осиновые плетеные короба и лукошки, рыбачили на осиновых долбушках-душегубках, легких челночках и быстрых стружках. И была песня такая старинная, которую певали по раздолью рек сибирских, выбравшись из осиновых рощь:

«О-о-о! из-за острова Кельястрова
Выбегала лодочка осиновая.
Нос-корма раскрашенная,
На серёдке гребцы́-молодцы́!»

А чтобы капуста не перекисла, клали на нее осиновый кругляшо́к и на осинового соболя охотились. Хотя он и низкого разбора, все-таки что-то стоил.

Огорченные своими чадами родители, тяжелые и медлительные в думе, но в слове невоздержанные и запальчивые, иной порой, высказывались:

— С осину вырос, а ума не вынес! Ждешь обеда? Пошел бы осиновые плошки делать, променял бы на картошку, тогда бы и пообедали!

В гиблых местах, там где хлеба не родилось перемогались тоже осиничком, ладили из него чашки-ложки, возили на ярмарку и продавали, припеваючи:

«Чашки, ложки . . .
Товар хороший,
а стоит по грошу.
Купи не скупись,
за ложку держись!»

Размахивали по площади расписными деревянными ложками, совали их прохожему:

«Вот тебе Терешка
большая ложка!»

Ложки покупали кому и не нужно. Случившийся мужик или парень доставали кисет, приговаривая: «Хоть меня и не Терехой звать, а надо тебя поддержать. На, возьми на разживу!» Вынимал из кисета царский грошик, а то и звонкую копеечку, с державным орлом парящим над облаками в знойных лаврах и дубовых листиках.

По площади хлестко било палым, желтым дрожащим осиновым листом, жалобно завывала непогода, во всю гуляла осень .

Таежники, павшие духом, унылые и бездеятельные, в это золотое ярмарочное время, когда каждый человек был кузнецом своего счастья, сидючи дома, по темным избам, певали и грустные песни: «Удавиться бы на осинушке, на самой вершинушке. Чтобы люди видали, как мы страдали!», но таких, жизнью разочарованных, было немного.

Процветала осинка, шла на щепные изделия, щепной товар, резную и точеную работу. Сельская и городская интеллигенция, а также люди сознательные из купцов, мещан и мелких чиновников, приобретали де-

ревенские изделия как предмет народного искусства. Ложки шли не по их прямому назначению, не в кухню и в столовую, а украшали письменные столы или развешивались по стенам, как «маятник времен», на пеньковых деревенских поясках или с лета заготовленных осиновых веточках.

Правда, иногда осиновая ложечка затеривалась на выдвижной полке какого-нибудь мастодонистого или гробоподобного буфета, среди пузатых графинов, изображающих кучеров. Порой, в соседстве мерзкого Диониса, нечестивого бога виноделия, существа не нашей боговщины, верхом сидящего на стеклянном бочонке, с выпученными как осиновые плошки и остекленевшими глазами.

Обескрыленные и подавленные люди переставали петь реводюционную «Дубинушку» и горько склонялись к обывательской «Осинушке»:

«Эх, осинушка, ухнем!
Мы от сивой горилочки пухнем.
Жизнь пропащая сама пройдет,
Нас во Святцах никто не найдет! . .»

Утром, с тяжкого и мутного похмелья, волочили одеревеневшие ноги к опустошенному графинчику с красным петушком на дне. Уставившись опухшими физиономиями в петушка, плачевным хором пели:

«Петушок, петушок,
Золотой гребешок!
Что ты рано встаешь,
а нам пить не даешь? . .»

Петушок жалобно отвечал, дрожа как осиновый лист:

— Я и сам пить хочу, в горле пересохло. А водочку

вы всю выпили и мне ни капельки не оставили. Пить до дна, не видать добра!

Несмотря на последние слова, по всему было видно, что и сам красный петушок безнадежный алкоголик.

За окном мело снегом, выли бездомные псы и продрогшие осинки голыми сучками, как окоченевшыми руками, скреблись в дверь, просясь погреться.

Процветала осинка в деревенском искусстве. Заправские мастера, в поэтическом восторге, ладили из осинника сизых голубков, не надо было и красить — и так сизые.

Голубки получались как живые, с распростертыми крылышками, с глазками бисеринками и подвешенные на тонких проволочках-пружинках казались летящими. Голубков покупал у хмурых лесных мужиков ласковый, улыбчатый батюшка, где-то в столицах окончивший пастырские курсы, именовавшиеся Восторговскими, чтобы бороться с «осиновыми предрассудками». Вверял батюшка осиновых голубков своим прихожанам, просил вешать заместо Духа Святого.

Странствовал по таежным речкам, озерам и оврагам, и тихо, благостно, напевал, как в своей церковке:

«Во Иордани крещающеся Тебе, Господи . . .
и Дух в виде голубином! . .»

И набожно перед ним склонялись таежные осинки, веяло от них горьковатым духом, но бодрым и примиряющим.

У нас не все были плохого мнения об этом деревце, всегда овеяном какими-то тайнами, и верили в весеннюю народную примету:

«На осине почки большие к урожаю ячменя!»

Говорили также:

«Осина и без ветра шумит. А как осина задрожит, так и скот в поле сыт. Осина весну чует!»

Не только наши прозаики, но и поэты посвятили

осинке много прекрасных строк. С детства она вызывала во мне чувство жалости к ней, какой-то ее непонятной трепетной и грустной тревогой и располагала к серьезному раздумью и настороженности.

Однажды я прочел свое стихотворение об осинке Ивану Сергеевичу Шмелеву и оно ему понравилось. Он послал его в Швейцарию своему другу, профессору Ивану Александровичу Ильину.

ОСИНКА

Чуткой, трепетной осинке
Не видать хороших дней.
В темной, низенькой ложбинке
Век дрожать придется ей.

Серебристый лист роняя
В голубой таежный мох
Жить о солнышке не зная,
Слышать только ветра вздох.

Легких крыльев не имея,
Лишь в одном забыться сне,
Лишь одну мечту лелея
Быть в сережках по весне.

Сибирские старожилы пренебрегали осиновыми постройками, считали, что осина нестоющее дерево, материал непригодный. Но переселенцы, в особенности белорусы, затерянные в необозримых осиновых пространствах, за неимением под рукой подходящего строевого леса, вынуждены были ютиться в осиновых избушках.

«Мы белорусы . . .
А живем не боимся

в осиновых избах,
как в небе синем . . .»

И они гармонировали с общим пейзажем среди сине-бирюзовых осинок, своими иссиня-землистыми иконописными ликами и светло-бирюзовыми озаренными очами, как у святых.

«Живем в осине,
как святой Осия!»

И праздновали свой «осиновый праздник». Имя Осия, по-библейски означало: помощь, спасение. Это святое имя и носит пророк Осия. Но праздник совершался двадцать седьмого августа накануне Успения Пресвятой Богородицы, в день святителя Осии, мученика, — епископа Кордувийского.

Где-то, недалеко, на севере легли первые снега и оттуда уже несло зимней стужей. Но у нас была еще поздняя осень.

В церковку, рубленную из осины, переселенцы шли со своим восторговским пастырем. Впереди летели осиновые сизые голубки. За ними, как в голубых крыльях, победно развевалась осинка, украшенная пылающими восковыми свечечками, зелеными ленточками, серебряными и золотыми сережками и монистами, и алыми цветиками. В церкви пели задостойную:

«Ангели успенье . . . Побеждаются естества!» —
А также песнь:

«Спаси нас, Сын Божий
молитвами Пресвятой Богородицы! . .»

День же пророка Осии совпадал с памятью бессеребряных Косьмы и Дамиана аравийских, когда зима прочно становилась.

А также с памятью святого Лазаря, друга Господня, по ранней весне, на Вербной Неделе еще в снегах, про-

биравшегося у нас достать цветущей вербы и встретить Светлое Христово Воскресение.

Не обходилось и без Миколы угодника, заступника и молитвенника крестьянского.

Погодушка слякотная, бредет Миколушка в осиновых лапотках. Видит, в деревне Осинниках народ веселится. Он и возрадовался: «Мир вам, на веселье, в просини осенней!»

И, вдруг, разошлась осенняя мгла, раздвинулись хмурые тучи и в небесной бирюзовой просини выглянуло золотое солнышко.

Солнышко сияет, рад и Миколушка — тоже солнышком сияет!

Вышли навстречу Миколе деревенские девушки, приветствуют Миколу:

«Здравствуй, Микола!
Хвала те по селам,
до край земли!»

В народные праздники в осинниках, благочестивые старушки-странницы видели и Пресвятую Богородицу.

Шла она осиновыми перелесками, издали благословляя собравшийся люд. Дошла до высоких голубых шатров: осиновых рощь и лесов, где ютились сельцо Осиновцы и деревня Подосиновка и Осиновские выселки, и поднялась в синее небо.

В тот же день видели Пресвятую Богородицу три святых старца-подвижника у преславного городка Осинника, на реке Кондаме, впадающей под малой часовенкой в реку Тань.

И простые рыбаки-поморы узрели Ее с кряжистых гор, у порога Осинского, недалеко от тех мест, где река Каменная Тунгуска, впадает в могучий Енисей, прозванный сибиряками братом Студеного океана.

Сказывали рыбаки: «Поднялась Божия Матерь в си-

нее небо над синим морем, озаряя наш край, бирюзовую дебрь, своим святым омофором!»

Ветерок осинкой шелестит,
а осинка в летнем полыме горит.
Листики лучистые,
как молитвы чистые!

ПРОКОПИЙ ВЯТСКИЙ

Свят-Прокопий Вятский
О любви-то братской
Ласково взывал.
Слышали в Уржуме,
Слышали в Котласе —
Весть и разнеслася,
Вишь, и ты узнал!

ДЯДИ ВЛАСЫ

У поэта Николая Алексеевича Некрасова было стихотворение, отмеченное 1854 годом, запечатлевшее трогательный образ дяди Власа, странствовавшего по Святой Руси со сборами на Храм Божий. Нельзя не вспомнить эти строки:

«В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.
На груди икона медная,
Просит он на Божий Храм,
Весь в веригах, обувь бедная,
На груди глубокий шрам . . .

Нет ему пути далекого:
Был у матушки-Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.
Ходит с образом и книгою,
Сам с собою говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.
Ходит в зимушку студеную,
Ходит в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары.
И дают, дают прохожие . . .
Так из лепты трудовой
Выростают Храмы Божие
По лицу земли родной . . .»

А в записной книжке почившего Ивана Сергеевича Шмелева недавно я нашел заметки, вероятно, предназначавшиеся им к предполагавшемуся отдельному этюду.

«Прочел несколько строчек, относящихся к 1874 году об образовании партии 'Земля и Воля'. Таковы были верования православного народника: 'Власы спасут себя и нас!'»

Еще при жизни Ивана Сергеевича мы как-то разговорились с ним о дядях Власах. Я ему сказал, что захаживали дяди Власы и к нам, в далекую Сибирь, в наш городок, но получилась, как говорится, обратная картина — мы такого Власа, можно сказать, из критического положения выручили.

Некрасовский Влас был крепостным крестьянином его отца Алексея Сергеевича, отставного армейского офицера, жившего в своем родовом поместье Грешнево, Ярославской губернии.

Влас, затерявшийся у нас, был тоже из российских губерний какого-то погорелова села, где сгорела и Божья церковь. Либо какой-то пострадавший и обедневший захолустный монастырек послал его по сбору.

К нам он свалился, как снег на голову, хотя и была середина знойного лета. Как только переступил порог, сразу же заговорил бойко и торопливо:

— Теперь самое время чайку попить!

На наши образа только покосился, может не так были писаны. На ходу снял свой образ с шеи, поясок с денежной кружкой, сел за стол на лавку.

Громыхнул кружкой по лавке, на лавку же и образ положил. Сам к самоварчику приблизился и, наконец, вздохнул.

— Истомился я, люди добрые, от духоты вашей и от богомерзких дел своих. Плеснул бы кто чайку черепушечку. У меня с кружкой этой недоразумение! — и он грустным взором уставился на свою денежную кружку.

Наши домашние не особенно удивлялись внезапному появлению сборщика, тоже своего рода мытаря. У нас в Сибири всего бывало. Хорошо, что не ночной гость какой. Знамо, что занесло погодой — зной и пыль то же, что пурга.

А и ночному, как не откроешь двери? Может он гибнет и нуждается в человеческой помощи! Вот, и вошел, благо что двери настежь.

Одна женщина ясашная, не помню к какому народу принадлежавшая, по старинке со своим мужем нашему царю дань-ясак платившая натурой, — беличьими шкурками, — сидела у пылавшего самовара, беличьими шкурками обложенная и разливала чай.

Самовар бурлил и пыхтел, как паровоз готовый к отходу, был весь в царских медалях — на них царские орлы.

Орлы метали молнии, горели огнями, готовые воспарить под облака в клубах выходящего из самовара пара.

Из-под самовара, от поры до времени, на медный поднос, начищенный до слонечного блеска, падали раскаленные угольки, а из самовара попыхивал небесно-бирюзовый дымок с искорками.

Ясашная женщина, как другие прочие, как и сам дядя Влас, была у нас тоже гость случайный, с тем преимуществом, что пришла раньше всех и, вместе с мужем заняла выгодную позицию. Муж сидел рядом, в выжидательной и покорной позе, маленький, щупленький, неказистый, одетый в хламиду, как тряпошный таежный божок, с маленькими косыми глазками — черными, как агат угольками.

Вся хламида была увешана таинственными амулетами и старушки богомолки про него шептались:

— Андел приставленный!

На ясашной женщине было широкое цветистое платье, в больших малиновых розах, как капуста, достойное малявинской кисти. На груди красовалось монисто. Мягко звенели новенькие медные царские монеты и царские орлы казались кокетливыми голубями.

В самоваре отражалось пылавшее лицо ясашной женщины в виде ласки бессмертного Будды, и когда женщина говорила, думалось всем, что сам Будда, — златоустый, — источает из самоварной меди огненные слова свои:

— Ты што ж, перейдя порог, не перекрестился, Бусурман какой, што ли? И свой образок на божничку не поставил?

Налила дяде Власу чаю в огромную деревянную чашку, красную, ярко-лакированную, всю в розах, придвинула к нему сахарницу с «головным» колотым сахаром искрящимся алмазами, стеклянную вазу с руби-

новым малиновым вареньем, пироги с печенкой и творожные шаньги, посыпанные сахарным песком.

— На! пей! Проклаждайся! С похмелья-то голова болит? Из кружки Божьи-денежки-то, на постоялом дворе повытряхивал?

И ясашная женщина указала на кружку, с упреком посмотрев на дядю Власа. Дядя Влас был смущен и готов был нырнуть, как бес, в чай, пылавший в чашке, чтоб спрятаться.

На лавке валялась распростертая Богоматерь, рядом с которой богомудрый и вдохновенный живописец изобразил большой глиняный сосуд, как в Кане Галилейской. Образ Божией Матери именовался «Неупиваемая Чаша».

Ясашная женщина продолжала жечь дядю Власа огненными словами:

— Што ж ты из постоялого закутка келейку себе вообразил? Наши ямщики за ширмочкой ночевали, притаились. Все видели, все слышали, а утром начальству доложили. Тебе и так клетка, и сяк клетка. Либо господин капитан-исправник посадит, а пойдешь к батюшке, к отцу-балгочинному, он в обитель, святым отцам отпишет, что быть тебе на хлебе и воде, в теснейшем, в строгом уединении, эстолько поры и времени, за тайное питие и тайноядие, и тайное же хищение из Божьей кружки лепт вдовьих и сиротских.

Тебе в аду с этим делом не сгореть, тебя бесы, веки вечные, на сковородке будут поджаривать, как пискарика.

В Писании сказано, что кто обидит малых сих, тому гореть в огне неугасимом.

Вот обратися к Максимовне, она по вдовству своему и сиротству деток своих, сходит похлопотать о смягчении твоей участи!

Ясашная женщина изъяснялась с некоторым влия-

нием языка церковного, так как была беглая монашка из скитов дальних, таежных, почти у самого студеного моря-кияна, где предки ее волховали и шаманствовали.

Дядя Влас схватился с лавки, вытащил из-за пазухи монастырскую или приходскую книгу для сбора пожертвований, зашнурованную веревочками, закрепленными жгуче-сургучными печатями, на которых красным пламенем горели невиданные нами соборы, может и святого града Ерусалима.

Соборы были когда-то, так четки и рельефны, так устрашающе-величавы, что они, за пазухой дяди Власа, за время его странствий, успели расползтись и видно было, что они стремились уйти от всей нашей мелкой суеты и праздности, спешили растаять в пламени краткого знойного сибирского лета, вознестись к пресветлому небу.

Мать моя пошла с Власовой книжкой к уездному исправнику, которого ясашная женщина, по-старинке, называла капитаном-исправником. Он сидел в своем кабинете, у окна, спиной к базарной площади и собору. На нем были погоны, вроде полковничьих, а на груди красовался бело-эмалевый офицерский георгиевский крест.

Пан исправник Зеленецкий был герой и крест получил за китайское восстание, которое пока что продолжалось.

На реке Мрассе, у утеса, со старинным названием «Заездка Китайца», стояли караулы со сторожевыми вехами на высоченных жердях, а под вехами были наготове конные казаки, с монголькими или бурятскими смуглыми бесстрашными лицами и косыми улыбающимися глазами.

На фуражках казаков были желтые околыши, на штанах желтые лампасы, на пиках желтые значки: —

цвет Солнца и Востока! Мой друг детства, Мишка Китайчик, шнырял между казаками на настоящем пони, купленном одним полярным исследователем у японцев.

Кругом стояла изнуряющая жара и нещадно полило солнце. По необозримым пространствам неизвестно от чего, там и здесь загорались и тайга и степь, а в горах, где жили черневые татары, узкие ущелья дымили, как огромные трубы каких-то чудовищных фабрик.

Пан исправник Зеленецкий сказал моей матери, что из уважения к Костельной улице, на которой вы живете, хоть и не поляки и не католики, я вашего дядю Власа не очень седовласого, не остригу машинкой под первый номер и не посажу в зеленый вагон за решетку, как попугая или канарейку и не вышлю этапным порядком под конвоем, но вам придется пойти в собор, к батюшке, отцу благочинному, чтобы он мне подписал ручательство о добровольном и добросовестном возвращении дяди Власа на свои пепелища, с ликвидацией всех прорех, которые он сделал своей кружкой! — таким словом закончил пан исправник свое постановление.

На собранные деньги мы купили дяде Власу билет в Россию до такой-то станции, в книгу вписали некоторую сумму денег, доверху наполнили денежную кружку.

На руки дяде Власу дали на непредвиденные по пути расходы, снабдив его едой и скромным питием безъалкогольным, но вполне бодрящим, так как сам благочинный, священник отец Иоанн, сказал: «Уныние есть грех. Боже сохрани человеку впасть в уныние духа!»

СТАНЦИЯ ТАЙГА

Над высоким живописным обрывом большое сооружение, напоминающее величественный ангорский храм, со множеством ступеней, спускающихся вниз к железнодорожному пути.

Рядом гигантский шатер огромных бирюзовых кедров и сосен, зеленых елей и белоснежных берез. И тут же грациозныя трепещущие осинки, живой, но коварный шиповник, грибы и ягоды.

На лету останавливался скорый поезд и обер-кондуктор красной сияющей физиономией восторженно оповещал:

— Господа пассажиры! Станция Петушки, берегите кошельки. Пять минут остановки, народ ловкий!

И, действительно где-то на необозримых просторах наших российских, была такая удивительная станция с таким веселым и игривым названием «Петушки».

Но наша сибирская станция имевшая тоже необычайное наименование и называвшаяся так же бодро и весело Тайгой, была замечательна по другому и сибиряки о ней трогательно говорили:

— Станция Тайга тем дорога́, что от нее на Томск доро́га!

А Томск, сами знаете, столица Сибири. Соборы, монастыри, губернатор, университет, клиника, пастеровский институт, а также институт технический. Кроме того пристань на реке: хочешь в горы, на Алтай, хочешь за Обдоры, к Студеному морю-кияну.

По пути, в городе Березове, где и воробей перелетная птица, могила князя Меньшикова, ссыльного временщика Петра Великого.

На одном из томских монастырских кладбищ камен-

ная надгробная плита над таинственным старцем Федором Кузьмичем.

Будто всероссийский император Александр Первый скрывался под этим именем.

Легенду о здесь почившем императоре все сибиряки всячески поддерживали. Им лестно было, что император, как пелось и в старинных русских песнях:

«Не в Таганроге жизнь
скончал».

А в нашей матушке-Сибири, изведав и плеть, кандалы, и ссылку

Инженер Н. Г. Гарин, один из строителей Великого Сибирского Пути, 18 июля 1898 года, в своем путевом дневнике, писал о станции Тайга:

«Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.

Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения магистрали, если бы она прошла через Томск.

Основное правило идеальной дороги: кратчайшее расстояние и минимальные уклоны.

В этом отношении — образец, как это ни странно, наша первая железная дорога, построенная по повелению императора Николая Первого.

Император положил на стол перед инженерами карту, на карту — линейку, и проведя черту от Санкт-Петербурга к Москве, кратко и определенно сказал:

— Вот как надо строить!

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казанское общество дошло в этом отношении до обратного идеала, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лишних двести верст».

Я не берусь рассуждать насколько прав был инженер Гарин, тем более, что теперешний Томск не сидит на ветке и стал узловой станцией. От него на северо-восток проведена железная дорога до устья реки Яи, впадающей в Чулым, где находится населенный пункт Асино, и, быть может, даже дальше.

Где-то я недавно читал, что севернее Томска ведут второй великий сибирский путь, параллельный старому пути. Он должен выйти к городу Охотску на берег океана.

Охотский участок пути частично уже закончен, а в мое время уральский участок довели от Екатеринбурга до Тюмени и я по нем совершал путешествие из Сибири в Санкт-Петербург.

Когда все работы будут закончены, это будет, действительно, замечательнейший в мире путь, соединяющий два океана — Великий и Атлантический.

Но я его продолжаю дальше, и еще недавно писал:

Лечу
над Тихим океаном
в столь неземной
и светлый час,
чтоб посетить
иные страны,
где неизменно
любят нас . . .

Или, когда-то, больше полстолетия тому назад, в ночь на 28 января 1904 года, поэт Валерий Брюсов, взывал к Тихому океану:

«. . . Топкая тундра, тугая тайга,
страны шаманов и призраков бледных,
смелым грозили закрыть берега
вод заповедных.

Славным вожатым был голос мечты,
зовом звучали в веках ее клики.
Шли мы стихией, открылся нам ты: —
Тихий, Великий!
Чаша безмерная, дай нам припасть
к блещущей влаге устами и взором.
Дай утолить нашу старую страсть
полным простором.
Вот чего ждали мы дети степей!
вот она сродная сердцу стихия.
Чудо свершилось, на грани своей
стала Россия.
Брат океан! Поскорей дай обнять
братскую грудь среди вражеских станов
Кто дерзновенный захочет разъять
двух великанов!

Как ни странно, написано это в самом начале русско-японской войны, и вскоре можно было прочесть стихи русской скорби, посвященные памяти погибшего адмирала Макарова:

«Спи, северный витязь,
спи честный боец,
безвременно взятый
кончиной.
Не лавры победы,
терновый венец
ты принял
с бесстрашной
дружиной.
Твой гроб броненосец,
могила твоя
холодная глубь
океана.

И верных матросов
родная семья
твоя вековая охрана...»

Впрочем были и более бодрые стихи. Так, по случаю осады Порт-Артура писали:

«На страже родины святой,
как Севастополь в дни былые,
храня заветы вековые,
стоишь, как грозный часовой.
Обитель доблестных сынов!
Вдали свершает подвиг славный,
и высоко орел державный
взвился над гранью двух миров.
Как буря мощь твоя сильна,
как океан неукротима.
И вера в Бога нерушима,
как Нерушимая Стена!..»

Первый раз я был на станции Тайга вскоре после проезда инженера Гарина на Дальний Восток для дальнейших изысканий, посетившего Корею, Китай и Японию и побывавшего в Порт-Артуре.

Через станцию Тайга двигались наши войска против китайского восстания, брать китайскую столицу Пекин. Японцы были тогда нашими союзниками и наступали рядом с нашими войсками.

Станция Тайга, в те времена, представляла собой небольшое здание, затерявшееся в кустарнике.

Напротив нее, за железной дорогой, виднелись два-три барака, кое из чего и кое-как сколоченных, несколько жалких лачуг. Это и был поселок Тайга.

Девственный лес вокруг был весь изведен самым беспощадным и хищническим образом нашими железнодорожниками, а также местными жителями.

Хотя, по настоянию начальства, так сказать для пейзажа или ландшафта, была оставлена поодаль бараков и хижин, небольшая жалкая купа деревьев, островок былой тайги, бережно охраняемый.

Впрочем, выйдя за станцию или поселок, вы вновь погружались в самые дебри настоящей, почти нетронутой тайги.

В культурную сторону, к Томску, хорошо не помню, на шестидесяти или восьмидесяти верстном протяжении, была, кажется, только одна станция, называвшаяся Басандайкой, в память легендарного татарского богатыря Басандая. Один мой земляк, родственник ссыльного декабриста, князя Трубецкого, написал о богатыре Басандае даже целую поэму. Но она где-то затерялась в моих вечных странствиях.

О станции Басандайка проезжие сибиряки шутили:

«Хороша хозяйка
наша Басандайка:
есть горячи пирожки
и веселые дружки!»

Действительно, здесь у прилавочка среди килечек и шпротов, в теплом и тесном кругу друзей и почитателей, рюмочка за рюмочкой, можно было так удосужиться, что отстать от поезда.

А если вы по темпераменту вашему выскочили без пиджака, то вам, в несколько обновленном виде придется начинать какую-то новую жизнь. Ваши вещи и пиджак останутся либо у жандармов, либо у жуликов. Причем жулики бывали просто уличные и эстетствующие, из вагон-салона.

Иногда пассажиры, россияне и дальневосточники, проезжавшие по главной магистрали, сворачивали на Басандайку, являвшуюся им, в сущности, не совсем попутным огоньком: посмотреть, что делается на томской

ветке, повстречаться с томичами, выезжавшими им навстречу.

Этот небольшой крюк, другой раз, превращался для них в настоящую петлю.

На заводе от станции Тайга, в сторону просвещенной Европы, включая и Россию, на могучей Оби был город Ново-Николаевск, позже переименованный в Ново-Сибирск, еще в мое время ставший конкурентом большого, важного барина Томска.

Вот что об этих местах писал инженер Гарин:

«Река Обь, село Кривощеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку.

На ста шестидесяти верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба берега реки и ложе скалисты.

И притом это самое узкое место разлива: у Колывани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки двенадцать верст, а здесь четыреста сажен.

Изменение первоначального проекта моя заслуга и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена.

Я с радостью смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в девяносто первом году поселок, называвшийся Новой деревней. Теперь это целый поселок. Но я огорчаюсь не видя в нем прежней кучки смиренных, мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.

Местность взволновалась, покрылась лесами и глубокими падями-оврагами, повалилась вдаль, открывая глазу беспредельные горизонты.

Здесь и тайга и пахотные места — гравы, государственная земля и общественники крестьяне. Села зажиточные. В избах гнутая мебель, цветы, особенно ге-

рань. Всякая баба приготовит вам вкусные щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и умеют готовить . . .»

Здешние сибиряки говорили:

«Пашем, не видим друг дружку. Косим, не слышим. Мясо кажен день. Такой, мол, у нас простор и богатство!»

Здешний сибиряк не знал даже слова «барин», почти никогда не видал чиновника, — «самоуправлялся сам».

Нередко ямщик, получив хорошо «на водку», в знак удовольствия и почтения, дружески протягивал вам для пожатия свою руку.

Эта Новая Деревня, о которой писал когда-то инженер Гарин, и называется теперь городом Новосибирском.

Есть теперь в городе свой университет или еще какие-то высшие учебные заведения. Издавался большой журнал, где сотрудником был и знакомый мне пропрофессор.

В мое время он пребывал в ссылке, в местах довольно отдаленных, у Студеного моря-кияна, где писал о тунгузских чумах, подобных вигвамам индейцев, о таинственном, замечательном камне, называемом им сибирием.

Журнал назывался «Сибирские огни» и невольно вспоминался отрывок из произведения ссыльного же писателя Владимира Галактионовича Короленко, вошедший даже во многие хрестоматии. Как, однажды, Короленко ехал по угрюмой сибирской реке, в мраке и холоде и как, все же, где-то впереди, светили приветливые огоньки.

Последний раз я видел Владимира Галактионовича в Полтаве, показавшегося в окне своего маленького уютного домика. Но мне недосуг было к нему зайти.

На восток от станции Тайга находилась станция Сундженка и разъезд Анжерский. На Сундженке были каменоугольные копи железнодорожного ведомства. Анжерские копи принадлежали Михельсону, американскому или французскому подданному.

На Сундженку я попал в обеденный перерыв, когда шахтеры выбирались из недр земли на свет Божий, в бараки-столовки. При мне, на допотопной машине подняли и старую, давно уже в шахтах ослепшую, лошадь, возившую там вагонетки, вывели ее на свежую травку.

Лошаденка своими впалыми ребрами и всем своим жалким видом, напоминала ископаемое животное. Она медленно и неуверенно шла, натыкаясь на изгороди.

Но все же на ее физиономии отражалась ласка к людям, которых она около себя чувствовала и снисходительное добродушие.

Хмурый, но добродушный шахтер, в блузе небесного цвета, достаточно замаранный, помахивая вонючей, ослепляющей лампой, склонившись ко мне сказал:

— Не сумлевайся! И мы слепнем, да вот этой вонью отравляемся!

Он показал на свою лампу и добавил:

— Да еще самогоном. А пьем до одури. Но ты нас не боись. Мы люди, когда надо, тихие!

Сразу же над шахтами и за шахтами — тайга, с целым морем малины и смородины, кедровых орехов; со множеством зверья и дичи. Другой раз попадался и мишка-медведь, хозяин тайги, забредший побаловаться малинкой. Но издали завидев ягодников, неохотно но добродушно, предоставлял им самим эту радость.

Однажды, пробираясь через густой малинник росший по болоту, я наткнулся на огромный ком лохматой шерсти и приняв его за какую-то старушку-ягодницу, кричу:

— Баушка, ты свою шубу замочишь!

Сидевший в воде медведь, повернулся ко мне, скосил веселые глазки.

— Мням, мням, мням! — что-то хотел сказать, и показывал мне свою лапу, обляпанную малиной.

Я бросился в одну сторону, медведь в другую.

По осени, из нашего славного городка Святой Марии, подавались специальные ягодные поезда. Они приходили рано утром, становились на запасный путь и дожидались ягодников, чтобы вернуться обратно.

В сторону южную от станции Тайга, был бассейн реки Яи, сказочный миниатюрный мирок гор, лесов и долин, где кроме сибиряков и переселенцев жил маленький, черномазый народец, робкий и пугливый, как таежный зверек.

Жил он оседло, крестьянствовал. Кое у кого были небольшие стада овец и коз, за которыми присматривали оборванные, как цыганята, мальчики-подпаски.

Изб я не видел, да их наверно и не было. Попадались пещеры по крутым берегам реки, с какими-то таинственными подземными ходами, а наверху необычайные шатры, в которых жили люди.

Позже я приезжал туда по землеустройству, выискивал, расспрашивал, исколесив огромные пространства, но народца этого не застал.

Он «подался» куда-то на дальний юг или на север, «на вольный простор», как говорили старожилы.

Через реку Яю, по главной магистрали был маленький, кружевной, двупролетный мост, упиравшийся в небольшую золотисто-оранжевую голую скалу посреди реки. Казалось, что волшебная птица, с легкими крыльями из ажурного металла, уперлась лапой в камни и сейчас взлетит, подхватив с собой и пробегающий поезд.

Но с разъезда Белый Яр, главной магистрали, была ветка на карьер железнодорожного балласта, иначе го-

воря — гальки, необходимой для железнодорожных путей.

У наших техников она славилась лучшей на всем протяжении Великого Сибирского Пути и ее возили далеко-далеко целыми поездами.

На белоярский карьер я попал ненастной ночью, в страшный разлив реки Яи. Ветка была размыта и наш технический поезд, медленно и осторожно, как бы нащупывая путь, двигался вперед задним ходом.

Мы с моим отцом были на передней площадке, идущей навстречу грозе и буре, и разбушевавшейся водной стихии.

Когда продвигаться стало опасно, поезд остановили и нам надо было пешком пробираться дальше, чтобы хоть как-то выяснить, что делается вокруг.

Спрыгнув со ступеней вагона, я сразу попал в глубокое место и стал тонуть. Кто-то меня вытащил, ухватив за полушубок.

В железнодорожной больнице, обсушившись немного, я вздремнул. Вдруг приходит мой отец и говорит:

— Вставай! Река угомонилась, путь исправлен, погода хорошая. Скоро начнутся погрузки, а пока поедем рыбачить!

Когда мы пришли на берег Яи, несмотря на ранний час, мы застали там множество народу.

Вдоль берега тянулись домики отдыха железнодорожников и частные дачи.

Но нам сразу же бросилась в глаза колоритная комплекция томского соборного протодьякона, как бы заслоняющего собой, и сокрушающего своим чудесным громоподобным голосом всю эту мелкую пестроту строений и лиц.

За ним маячилась какая-то унылая фигура с длинными волосами, в пенсне и ветхой соломенной шляпе, из которой, как перья, торчала солома.

За ее плечами, как будто крылья невиданной и смешной птицы, болталась накидка гоголевских времен.

Фигурку эту мы приняли за привязавшегося к отцу протодьякону тщедушного дьячка или мелкого консисторского чиновника. Но это был профессор томских высших женских курсов, самим же протодьяконом совращенный на рыбную ловлю. Профессор не столько интересовался рыбой, сколько до всего допытывался.

— Что мне ужение рыбы, я не Аксаков. У нас на Алтае, по озерам — речные коровы гудут, как удоды. А их и картечью не возьмешь. По крайней мере, так господин Потанин повествовал в своих путевых записках ученого! — ворчал профессор и, наконец, пристал к нашему старому инженеру.

На старом инженере была форменная засаленная тужурка с потемневшими ясными пуговицами, изображавшими топор и якорь, железнодорожную эмблему, что на языке железнодорожников обозначало: врубайся и надейся!

Сами собой напрашивались стихи Лермонтова:

И железная лопата
в каменную грудь,
добывая медь и злато,
врежет страшный путь.

— Вы как мыслите, — подобострастно, вкрадчиво обращался профессор к инженеру, — каким образом оказался здесь такой неоглядный и толщенный слой сих изумительных камешков?

Старый инженер спокойно и деловито ответил:

— Что нам думать? Природа знает давно, с Хеопсовых пирамид и даже раньше. Она предусмотрительно

приготовила здесь балласт, необходимый нам для путей и построек. До остального мы пока не докапываемся!

Во время разговора томского профессора со старым инженером, кочегар нашего паровоза неожиданно уставился на отца протодьякона.

— Вы что же это, отец протодьякон, таким пагубным делом занимаетесь! Из-за какого-нибудь пискаренка вы устраиваете конфликт человечества со всей Божьей тварью!

Отец протодьякон спокойно и уверенно ответствовал, громоподобно сотрясая окрестности:

— Что же здесь предосудительного? И сам Господь ловил рыбку на море Галилейском!

— Это было как и закон Моисея! — вежливо возразил кочегар. — До него, по жестокосердию нашему, многое творилось. Раньше люди самосудом занимались, а Моисей установил закон, дал заповедь: не убий!

То же самое произошло и с Христом. Он и чудесный лов рыбы совершал и повелел рыбке дань заплатить кесарю, лишь бы люди, пока што, урезонились, не ели друг друга.

А сам вел жизнь строгую, уходил в пустыню, постился, молился и скорбел над родом человеческим. И давал людям завет великого воздержания и примирения со всей тварью Божией!

— Да и у нас пост и воздержание! — громыхал отец протодьякон. — И даже есть дни запрещения всякого непотребства, вина и елея!

У реки Яи необычайное прошлое. Когда-то здесь были разбросаны золотые прииски, но к моему времени они заглохли.

Некоторые приискатели, охваченные золотой лихо-

радкой, увлекаемые неведомыми и заманчивыми далями, двинулись на Дальний Восток и даже в Америку.

Золотоискатель Кулаев, приехавший в наш маленький городок Святой Марии, бывший тогда золотоисковым центром всей Сибири, сделал здесь огромное состояние и переселился в Америку. Там теперь существует фонд его имени помощи нуждающимся.

Оставшиеся на Яе приискатели забросили свои прииски, переселились в наш городок, тихо доживая свой век на проценты со своих капиталов.

Последний раз я был на станции Тайга в начале войны четырнадцатого года. Метался далекий Амур, бунтовали Алтай и южные степи. Горел город Барнаул, столица алтайского золота. Шли воинские поезда на фронт. В арестантских баржах привезли в Новосибирск запасных солдат, неистовых степняков.

На станции Тайга я встречал и провожал родных и знакомых томичей, отправлявшихся в действующую армию.

Станция Тайга к тому времени сделалась благоустроенным городом. Была большая каменная церковь, годившаяся и кафедральным собором в любой губернский город.

Был театр, гостиницы, рестораны, электрическое освещение бельгийской компании. И наши сибиряки шутили:

— Когда два бельга достанут две бельги, они всегда что-нибудь выдумают. Не то что мы, швыряющие сотнями!

Бельгийцы освещали также наш город и даже многие большие села южной Сибири. Но ярче всех электрическим светом сиял Славгород, столица немецкой колонии.

Я не считаю последнего, мимолетного, проезда через

станцию Тайга, с Дальнего Востока в Ташкент, в семнадцатом году

В Томске уже были какие-то восстания с кровавыми жертвами. Но в нашем маленьком городке Святой Марии и на станции Тайга было сравнительно спокойно.

Порядок поддерживали рыжебородые великаны тоболяки, государево ополчение, с большими медными крестами на шапках, с огромными тяжелыми ружьями време очаковских и покорения Крыма, паливших как старинные пушки, пышавших огнем и пламенем.

На медных крестах государева ополчения было отчетливо начертано: «За веру, царя и отечество!»

ГЛАВА III

СКАЗЫ СИБИРСКИЕ

ТИСУЛЬ*

Спрашивают старушку:
— Ты откуль?
— С Тисула!..
Спешу
к матушке Кие,
во град Святой Марии...
Там зорька алеет!

Насколько помнится, помимо села Тисуль, была еще и маленькая железнодорожная станция на Великом Сибирском Пути.

Говоря языком библейским, от села Тисуль до железной дороги было поприщ сто. Находилось оно в низовинке речки Тисульки.

Неподалеку течет река Урюп, берущая начало в Кузнецком Алатау, у села Золотогорского.

А вы знаете, что такое у нас, в Сибири, — Урюп? Экзотика! Привозить надо либо с Китая, либо с Индии дальной. Впрочем, поставщиками у нас являлись кавказцы и американцы. Доставляли такое количество, и так быстро, что на базарах в миг, — выростали фантастические горы. Назывался он у них урюпом. Это привозимые из Азии и Америки сущеные абрикосы. Юрю-

---

* Городок Тисуль и ныне существует и стал большим городом.

пами у нас звали всяких замарашек, к какому полу или возрасту они не принадлежали, какое бы общественное положение они ни занимали. Эти любители абрикосов, как и продавцы оных, почему-то ходили всегда заляпанные.

У речки Тисульки, в старые времена, водились косули, серны, дикие козы — забегавшие сюда с Кузнецкого Алатау, из села Золотогорского. Они казались маленькими золотыми оленями.

Тисульские хозяюшки к Рождеству Христову, из пресного теста, пекли подобие оленя. А если какой из них такое искусство не удавалось, она пекла большой пряник, на коем изображала оленя, как истинный живописец.

В этом обычае руководствовались святыми преданиями, кои повествовали, что к яслям Христовым, поклониться Младенцу-христу приходил и олень.

Но вскоре он вышел из вертепа и стоял неподалеку, сторожа Пресвятую Марию и Ее Сына от злых и хищных зверей.

Один волк присоединился к оленю, сказал:

— Я тоже хочу защищать Христа Младенца от моих братьев волков и царя Ирода.

На иконах и картинах даже великих живописцев это не изображалось. Потому что происходило вне вертепа, вдали . . .

Но в Тисульском селении у бабки Феоктисты, что по-гречески означает Богом созданная, память коей тисульцы чтили девятого ноября, в день преподобных Феоктисты и Евстолии, а также в Ночь Рождества Христова, хранился древний складень, где в меди изображалась Рождественская Ночь с вертепом и яслями, а по краям — с одной стороны олень, а с другой волк.

И бабушка Феоктиста, велевшая мне повсегда мо-

литься, что бы ни случилось, — когда-то настойчиво шептала:

— Молись, не бойся... Это волк святой!

Пекли тисульские хозяюшки к Рождеству сладкие шаньги и пироги, и приставляли к ним сладкие рогульки, напоминая святого рождественского оленя.

Речка Тисулька тоже косулька... Приткнулась к нашей реке Кие, под косым углом градусов в тридцать. Она ее маленькая сестренка. Кия пошла дальше... И ее повела!

Впадает Кия у села Зырянского в реку Четь. Под селом Асино — сплетение рек. Там и Чулым. И река Урюп в Чулым впадает, лишь в другом месте, немного повыше. У деревни Мазульки, что против Ачинского Острога.

Стремятся реки к Обь-реке. А та величаво несет великие воды свои к Студеному океану. Сама обращаясь в необъятное море.

И над Тисулью
орлы взметнулись,
где оком зорким
пронзают высь.
Вдали, в аулах,
что пчелий улей.
Не стой прохожий...
— а помолись!..

В МОГИЛЬНОЙ СТЕПИ

Татарский Китеж

Действительно — могильная!

Едешь-едешь по ней, без конца, без края. И подолгу не видишь ни земли, ни зверя, ни птицы.

Степь кажется вымершей.

Но Могильной, однако, она прозвана не за свою необитаемость, а за то, что усеяна могильниками. Громадными курганами, тянущимися иногда без перерыва на десятки верст. Живых людей не видишь — видишь только курганы, жилища мертвых. Один за другим уходят они в степь Кружась, мелькая перед глазами чудовищными муравейниками.

А кони летят, летят, как птицы. Поглощая необъятные как океан пространства!

Сколько их здесь, этих мертвых городов. В этом заколдованном спящем степном царстве?

Я однажды хотел пересчитать сколько их на одном участке между двумя верстовыми столбами дороги. Досчитал до ста, а еще далеко было до конца. Пришлось прекратить счет, кони умчали меня от этого места. Все курганы слились в один зубчатый хребет. А мимо меня мелькали уже новые и новые курганы, еще и еще. Каким-то жутким хороводом.

— Тут народ один жил! — рассказывал мне мой ямщик, минусинский татарин, Малай. — Народ такой: чудь назывался! Чудной, видать был, потому так прозвали. Русские так прозвали. А как звал себя сам народ, никто не помнит — давно было! Они наши предки были, однако, старики наши сказывали. Но когда жили, как жили — не знаем! Сказывали, было их много — чуди . . . И полонили они всю степь, от Камы до Алтай-гор и до тайги дальней — на полночь. Хорошо будто жили, правильно, богато. Долго так жили.

Но вот начала расти в степи, от тайги пошла, белая береза. По холмам, по низинам кралась сюда в степь. Радуется чудь — лес будет! Да не долго радовались — за белой березой пришли посланцы белого царя.

Чудь прокляла белое дерево.

И посейчас у нас зовут березу русским деревом, проклятым . . .

Не хотела чудь отдаться живою белым людям в белых доспехах. Помнишь, я тебе казал два кургана, один побольше, как гора, другой поменьше будет. Когда чудь шла на войну с белым царем, то повелел хан ихний, чтобы каждый воин бросил в одно место по горсти земли. Когда войско воротилось назад, то для счета опять бросили по горсти земли, около старого кургана. И стал малый курганчик, так — с кочку!

Вот сколь было этой чуди и как много ее пропало на войне!

Посмотрел хан на гору, на два кургана воинских и сказал:

«Худо наше дело! Айда помирать!»

Велел хан копать своему народу могилы в степи. Таскать плиты с гор дальних. Выкопала себе чудь могилы, как велел хан, — каждый для себя. Положили над могилами на подпорках плиты каменны, залезли под них в доспехах золотых, с женами и детьми. Выбили подпорки по знаку хана . . . Протрубил хан в золоту трубу оленью и после тоже лег в могилу.

И умер так весь народ, чудь — Золота Орда!

Не знаю, правда ли это . . . Нонь тут ездил курганщик ученый из немцев — он много курганов копал, да что он знает. Говорит: «Могильники это древни!»

Да и мы сами знаем, что не нынешни!

— А что еще сказывали ваши старики про эту чудь? — перебил я Малая, не интересуясь разговорами об ученом курганщике.

— Да что . . . Всякое говорят! . . Вот будем к реке Белой подъезжать — увидишь канавы. Это чудь их копала, для покосов. Пашни у них были. Пашут теперь чалдоны да самоходы. Будто не тронута земля, целина, а находят струмент всякий, сохи которыми ту землю пахали. Еще чудской наряд всякий, безделушки . . .

Сказывают, что эта чудь была богатыри, силачи. Вишь, каки плиты натаскали на свои могильники! Откедова? Как? Мы бы с тобой эдак бы не натаскали!

Малай мне указал кнутовищем на один курган, окруженный с четырех сторон плоскими плитами, как бы стенами. По углам этих стен возвышались громадные плиты сажени в полторы вышиной и аршина два-три шириной. Плиты толстенные!

— Много еще рассказывают наши татары про эту чудь! — начал Малай. — Вот видишь, по косогору, как бы тропки. Тропки к низинкам уходят. Там «Шаман-камень». А вот здеся-ка, по энту сторону, ишь маячит — стоит каменна баба. Ключи у ей от кургана ханского, от степи всей!

Говорят, в старину кажну полночь приходил навещать ее, эту бабу, шаман. Молился ли, каки худы дела делал . . . Будто спрашивал, где ключи зарыты, когда степь отмыкать надо.

Он, шаман-то, тропку энту и проложил. Но раз ночью, не разглядел тропу, да и упал с косогору. Круча страшенная, другой бы разбился, а он, как шаман . . . ему хучь бы што! . . ничего! . . Только окаменел вот . . .

Хочешь, посмотри. Вон она стоит, баба-то, а подле Шаман-камень будет!

Мы встали с тарантаса. Отойдя немного в сторону от дороги, подошли к довольно-таки грубому каменному изваянию, величиною с человека. Лишь голова была как выточенная. И можно было различить, и то, правда, с некоторым трудом, глаза, щеки, нос и подбородок.

Лоб и грудь бабы были вымазаны сметаной, около нее лежали осколки разбитых бутылок и чашек и на ней внизу было нарисовано несколько таинственных шаманских знаков.

— Ханские сроки! — прошептал Малай, с некоторым суеверным страхом.

Шаман-камень был вовсе не камень, напоминавший человеческую фигуру. Он нам с Мамаем чудился живым человеком, чародеем.

Многие татары, не оставившие старой веры и до сей поры, поклоняются этой бабе и приносят ей жертву: льют перед ней араку, дают ей сметану, хлеб. Если этого не делать, говорят они, тогда заблудишься в степи, буран зимой застанет, летом пожар. У нее ключи от Могильной степи, что хочет нашлет. Ишь, изрыто все — ключи искали! Худые люди искали. Зачем, кому ключи? Беда будет: хан встанет, орда встанет, земля трястись будет. Каменный шаман пойдет степь отмыкать.

Мы сели в тарантас и поехали дальше. Дружно подхватили кони. Лихо залились колокольчики. Завилась пыль веселыми, бойкими барашками.

И опять замелькали перед нами бесчисленные могильники-курганы, заколдованные. Спящее царство — татарский Китеж, Могильная степь.

КУРГАНЫ

Седые курганы кого сторожат,
Какие герои под ними лежат?
Кого заманила степная лазурь,
И как погибали от жизненных бурь:
За волю сражались, иль, степь покорив,
С раздольем расстались, навек опочив?
Не скажут курганы. И, тайну храня,
До мира кончины, до судного дня,
Былое лелеют, на звезды глядят . . .
Лишь песнью моею с тобой говорят.

ТЮХТЕТЬ [1]

Медведица Машка

«. . . в Тюхтети
и медведь Богу молится! . .»

Хмурое сибирское село Тюхтеть раскинулось неподалеку Четь-речки. Над низинкой, довольно ровной и открытой.

Позади села и почти вокруг него — нависла легендарная тюхтетская тайга.

Чулым [2] широкой охапкой охватывает мохнатыми медвежьими лапами Тюхтетскую волость. Это его царство!

За Тегульдетом [3] и фантастическими Бирилиссами, [3] более или менее открывается север.

В Тегульдете
конец лету
и гуляет сиверко.
Там уж люди
все отпеты
пред иконой Иверской!»

Соседом Тюхтети был Нарым, слывший у нас «местом не столь отдаленным». Так он славился по всей великой Матушке-России. Да и по заграницах сие было ведомо даже людям непросвещенным.

Что же касается людей образованных, так сказать интеллигенции, то она друг на друга косились в партийных разногласиях. И перекорялись вежливо и деликатно: «Либо нам, государь наш, либо вам сих злокачественных мест не избегнуть!»

---

[1] Тюхтеть — название села.
[2] Чулым — название реки.
[3] Названия городов в Томской области.

Но в революциях, непредвиденно, все перемешалось. Попадали в Нарым люди разных политических окрасок и веяний. Зависело от эпохи! . .

Впрочем слава Нарыма, как гиблого места, была слишком преувеличена. Там жилось нет ак уж плохо. Как за Тегульдетом и Бирилюссами, где

> . . . Медведица привстала на дыбы,
> точь-в-точь как звездная
> на небе тезка . . .

Тюхтетская тайга самые медвежьи места и с нею связано сказочное количество былей и небылиц. Тем более, что тюхтетские охотники не лишены фантазии и поэтического дара.

Один старичок, уже отохотившийся, сидевший дома и домовничавший, предоставивший своим сыновьям удовольствие скитаться по трущобам, расказывал мне старый анекдот, еще в детстве читанный мною в какой-то старой, затрепанной книжке:

«Иван, ты што делаешь?

— Медведя поймал!

— А што нейдешь?

— Да не пускает!».

Но у тюхтетского батюшки, отца Иоанна, с медведями были иные взаимоотношения. Приучил он медведя приходить к нему на собеседования.

Собственно, это был не медведь, а молодая медведица, которую все окрестные жители звали Машкой. Думаю, что у нее была человечья душа. Машка все время тяготела к людям, держалась жилых мест, дымка заимок и деревень. Особенно приятно она водила носом, когда где-либо пекли караваи и из труб, вместе с дымом, несло хлебным духом.

Втягивая ноздрями воздух, она как бы впитывала в себя этот, почти медовый аромат. И тогда она улыбалась.

К батюшке Машка приходила по звону ранней заутрени. Он протягивал ей ломоть ржаного хлеба, густо смазанный медом. Гладил ее по голове, благословлял, произнося густо же:

— Иди, Машутка, с Богом в свои пенаты!

Голос у отца Иоанна был бархотной ласковостью, что особенно располагало молодую медведицу.

Машка, деликатно облизываясь, с необычайной легкостью, как феерический дух тайги, исчезала за деревьями, только что пробудившимися и по-детски лепетавшими листвой своей.

А отец Иоанн начинал церковную службу.

Иногда Машка оставалась возле церкви в ожидательной позе, не решаясь в нее войти. Это означало, что она непрочь еще полакомиться. Но строгий взгляд отца Иоанна, пресекал сие непотребство. Тогда Машка тихо и нерешительно удалялась.

Однажды она пришла не одна. За нею плелся медведь, неуклюжий и хмуроватый на вид. Это Машка решила представить батюшке своего суженого.

Отец Иоанн догадался. Угостил их, благословил и напутствовал молитвой. Чудесным видением исчезли они в тайге пред очами его.

Священник подумал: «Блажен, кто и скоты милует. Так сказано в священном писании. Аз-же, многогрешный, разумом убогий, мыслю, что зверь не зверь, коль к нему относиться с любовью и лаской!»

И своим густым бархатным голоском прогудел над тайгой в звоне колокольном псалом Царя Давида, молитву утреннюю:

«Избави мя от крови, Боже... Боже спасения моего! Возрадуется язык мой правде Твоей...»

Слышали отца Иоанна лани и зайцы. Медведи, волки, бирюки и россомахи... Тайга гудела ответными голосами!

ПЕСНЯ ВОТЯКА *

(Дикие гуси)

Дикие гуси пролетят,
останутся их голоса.
Звери тропой таежной пройдут —
след оставят.
А что останется после меня?
Разве эта песня?
И то хорошо!
Крики гусей развеет ветер,
Звериные тропы заметет вьюга,
И сам я умру на дальней неведомой зимовке,
Но ты ведь мою песню споешь другому?

А другой, разве он забудет спеть о том, что где-то жил одинокий, бедный вотяк, у которого было такое же как у тебя золотое сердце?

ЛЕГОСТАЙ — СВЯТОЙ МУЖИК

(Где-то между Барнаулом и Томском)

«В Благовещенье птицы вещие,
незловещие,
пели песнь о святом мужике.
А он ничего не вкушал, пташек
слушал!»

Где-то между Барнаулом и Томском жил в глуши какой-то крестьянин.

Ежегодно, в день Благовещенья, двадцать пятого

---

* Вотяки — инородцы финского племени, охотники. Живут в Сибири.

марта, он раздавал беглому люду хлеб и разные необходимые вещи.

Говорили, что в этот святой день, когда птица гнезда не вьет, и девица косы не плетет, приходили к нему, этому крестьянину, за сотни верст, несколько тысяч бродяг.

В этот весенний светлый праздник, когда вся природа оживает и даже солнышко играет, — всегда серьезное в своем годовом трудовом пути, — бродяги получали от мужика кто рубаху, кто иную какую одёжу, кто сапоги, кто пуд-два хлеба.

И всем он давал на прощанье по пшеничному жаворонку, только что испеченному и вынутому из печки его благоверной женой.

— На, лети с птицей Божией! Подавайся дале, на юг. За Батюшку Алтай — Золоты Горы!

Тепло было на душе и сердце у бродяг от проникновенных слов, ласки мужицкой. Из-за пазухи у каждого жавороночек выглядывал. Сиял глазками-изюминками, путь-дорогу указывал.

Вот из-за этого одного, за сотни верст, рискуя замерзнуть или попасться, шли эти холодные и голодные, передвигавшиеся лишь ночью, а дни проводившие где-либо на деревенских задворках или в банях.

Тянула сей обездоленный люд ласка жертвователя, видевшего в них таких же, как он, Божьих людей.

А им, помимо этого, еще хотелось свидеться друг с другом. Узнать все новости таежной жизни.

Если говорить «на полпути от Барнаула к Томску», думается мне, что эти места недалеко от наших мест.

В нашем Мариинском остроге поговаривали, что у Салаирского Кряжа, у истоков реки Бердь жила сердобольная крестьянская чета Легостаевых, помогавшая, — чем Бог послал да добрые люди, — всяким странникам и бродягам.

По их имени и местность прозвали Легостаихой. До сих пор существует село Легостаево, на среднем течении Берди.

В Бердске на Оби, где Бердь впадает, слышал я и песню про Легостаевых — от бердских крестьянок, выходивших на пристань к пароходам, продавать пироги и ягоду.

«Легка стая Легостая
улетает за Алтай.
Добрым словом вспоминает:
Легостай наш, Легостай!»

Бердский острог-крепость был основан в восемнадцатом столетии.

Восхищался этими местами инженер Н. Г. Гарин, участник постройки Великого Сибирского Пути.

Земли Кабинета Его Величества граничат с Алтаем. Когда едешь из Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте. Гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба.

В нем сказочные богатства гор: золото, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь все спит, или принижено, захваченное бессильными и неумелыми руками. Но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет, на развалинах старой, новая жизнь.

Эту сибирскую быль о мужике Легостае Гарин мне и поведал. А я добавил к ней то, что сам узнал о Легостае.

«Как у нас-то на Алтае,
кажный знает Легостая.
Говорил нам Легостай:
'Дивный край, что Божий рай . . .
Век живи, не умирай!'»

ТАЙГА ГОРИТ

«. . . тайга горит,
дым к небу носит.
И вековые кедры
косит . . .
И тальники,
дугой согнувшись,
отдали Богу
свои души! . .»

Из тюхтéцкой тайги надо было выбираться. Дело оказалось не столь простым. Своего коня я почему-то отпустил, — по недомыслию! Пошел на почтовую станцию, а там «все кони в разгоне», — по пожарной причине . . . Тайга горит!

Больше всего ездит всякое начальство, углядывает пожарища — куда они кинулись. Распоряжается. Пригнали роту солдат из нашего Мариинского острога. Велят канавы копать.

Будто пожар через канаву не перемахнет. А он махнул через Четь-речку. Кое где — и Чулым, реку немалую.

Разбушевалась стихия, море огненное. Словно океан в прибое, — бьет волной, а после отступит. Чтоб снова взмыться, с новым неистовством и злобной беспощадной жадностью. На моих глазах, средь бела дня, деревенька сгорела. Как церковная свечечка, от подземного огня — торфяного.

С почтовой станции вернулся я к «господину крестьянскому начальнику». А он меня утешает:

— Сам без коней сижу. Вот с кабинета своего лицезрею. При этом светильнике, коптилке. Получается, как в песне про мосье Бонапарта: «Шумел, горел пожар мо-

сковский . . . Дым растилался по реке . . .» Такая стихия может и до Москвы дойтить!»

Пошел я от крестьянского начальника по направлению сгоревшей деревеньки — на хуторок наткнулся. Достал лошадёнку, с мужиком. Сразу видно, мужик толковый.

— Мигом домчу куды следывает. Особливо, ежели по какому казенному делу!

Мчать не на чем. Лошаденка и есть лошаденка. Будто и не дышет. Бока впалые, — ребра да кожа. Ноги — костьми. Головой поникла как бы в страной выжидательной задумчивости: «Чем же эта моя жизнь окончится?»

Но была лошаденка взглядом живая и умом смышленная. Что и меня оживило. А то я впал в безнадежное состояние. Как выбраться из этого пекла, тем более, что де́ла — целая торба!

Выехали с хуторочка жиденьким проселочком на большой шлях — по-сибирски тракт именуемый. Не то от слова трактир, не то от тра-та-та . . . когда едешь, сотрясаешься всеми внутренностями. И, конечно, душою!

Вскоре мы выкарабкались на границу тайги и величавой, обширной, возвышенной равнины. Казалось, что ей конца-края нет.

Впрочем, равнина застилалась клиньями тайги, прямо и жестко вонзавшимися в ее больное царство трупами павших и обгорелых деревьев.

Почему и не видать было, куда равнина запала или поднялась. Где край ее.

Впереди нас, так сказать, на фоне горизонта солидно позванивали колокольцы́. И можно было подумать, что это в какой-то монастырской часовенке звонит юный послушник, сзывает пробудившуюся монастырскую братию в церковь: «Вставайте, братие! Час молитвы настал!»

Чья-то спина, прочно занимавшая весь зад тарантаса, закрывала колокольцы, коней, ямщика и переднюю часть экипажа.

На расстоянии, почему-то почувствовалось. что человек едет пожилой. Но спросонья крепится, и бодрый духом.

По сибирским дорогам много тогда скиталось всякого люда. И солидного, и так себе... вроде поджарых Хлестаковчиков. Одни других стоили. Не считая духовенства, купечества, государственных чиновников, капитан-исправника и господина пристава. Может, это наш уездный исправник и совершал путешествие!

Так проезжий и канул над горизонтом по уходящему в низину тракту, вместе с тарахтящим тарантасом, ямщиком, конями и звоном. Настала тишина.

Вижу, горит костер на обочине тракта, кем-то оставленный. Немного поодаль, упираясь в дерево, во весь человеческий рост стоит медведь, чуть-чуть прячась за ствол.

Несколько согбенный, с длинной изжелта-бурой грязной шерстью, он походил на святого странника, одетого в хламиду.

Его мудрые, скорбящие взоры были спокойно-настороженными. Он глядел в сторону удалившихся колокольцев, на тлеющий, чуть-чуть дымящийся, костер, на нас. Косил глаза, нет ли еще кого позади!..

Мой мужик, увлеченный своими обязанностями ямщика, своей лошаденкой, не заметил медведя. Не обратил внимания и на костер.

В сущности это было мгновенье. Так как лошаденка разошлась и везла отлично. Но я успел любезно поклониться медведю-страннику... А может и хозяину сих непроходимых мест! На это приветствие он скорбно улыбнулся. Но я почувствовал, что у него возникла какая-то мысль и его глаза оживились.

Едучи, долго я оглядывался, размышлял: что же медведь поделывает, где он?

Когда между нами образовалось почтительное расстояние, равное верному выстрелу, медведь, на четвереньках, подпрыгивая как заяц нырнул в придорожную канаву. Взметнувшись перед этим своими мохнатыми лапами, как огромная, диковинная лесная птица...

Я потянул ямщика за бешмет, шепчу ему настойчиво и нетерпеливо:

— Заворачивай!

— Куды?

— Медведя смотреть... Глядь!

Медведь вычарапывался из канавы на обочину тракта, к костру. Перед этим он вывалялся в канавной жижице и набрав в свою длинную и густую шерсть достаточное количество влаги, стал совершать таинственный танец. Уподобляясь шаману, в его магических действах.

Танцуя он отряхался, будто бы в такт какой-то мелодии, и получался танец огня, пригодный даже для какой-либо оперы или балета.

Но была, так сказать, и практическая сторона медвежьего танца. Медведь, напуганный таёжными пожарами, быть может пострадавший от них и лишившийся, что называется, своего угла — тушил костер!

Медведи, как и люди, существа увлекающиеся. Медведь занявшийся устройством своей берлоги, или хозяйничающий в чьей-либо пасеке, мечтательно залезший в кусты зрелой малины или в клинушек овсяной нивки — впадает в некоторое забытье. Тут он уже не от мира сего!..

Вы можете вплотную подойти к такому медведю и он даже не оглянется. А если оглянется, вздрогнет, перепугается... и убежит. Никогда не нападёт!

Так и в этот раз. Когда мы подъехали к медведю почти вплотную, он тогда лишь обернулся, как бы недоумевая: что сей сон значит? Эти люди опять рядом!..

Но видя мою приветливую улыбку, спокойно, неуклюже Мишка полез в тайгу. Немного недовольный, что его лишили важного дела и веселого развлечения. Костер мы с ямщиком сами потушили.

Самым удивительным было поведение лошаденки. Она не боялась медведя. В это время она верила в миролюбие всех, и зверя, и человека, встретившихся по воле оГсподней... Чтобы пнять друг друга!

СНЕГИРЬ

«Не белы снеги
во поле забелилисься!..»
(Старинная народная песня.)
«Ты что ж, снегирёк,
не на наш огонёк?
Нас огорчаешь,
в чужу даль отлетаешь?..»
(Из детской песенки «Прощание со снегирём».)

Пришёл парнишка Гаврюшка, охотников сын. Нанёс на ногах снега. Обу́тки шапкой отряхивает. Наклонился, снег с одёжи сыпется.

Старушка Павловна, ссыльная поповна, ему говорит:

— Что ж ты нам в избу снегу натруси́л, святой Гавриил?

Гаврюшка ей улыбается.

— Ты, баушка, не обижайся! Я вам весну принёс. Вишь, снежок тает. Теперь у нас, на Алтае, и девочка-снегурочка растаяла. Дед да баба, да курочка ря́ба по-

слали ее на простор. Студёное море пробуждать. Красавица Ки́я этим и славится!

Действительно, на реке Ки́е происходило что-то необыкновенное. В нашей избушке, за версту от берега, слышался страшный треск и гул.

Будто звонили в большие колокола и палили из пушек.

Дни, и в праву, подступали ликующие, торжественные. Как у Ивана Сергеевича Шмелева, в книге «Лето Господне»:

«. . . с кустика кап и с елочки кап! . .»

Парнишка Гаврюшка, отряхнув с себя снег, неловко помялся у порога. Почесал в затылке, будто что вспомнил. Мигом в дверь, в сени. Тащит оттуда охапку снеголо́ма. Сучьев, обломанных в тайге тяжестью снега и бура́ном.

— За это, — говорит, — лесная стража не преследует. А так бы штраф!

Приткнул связку хвороста к стенке. На хворосте тоже тает снег. Капает на гнилушки половиц и тоже: кап, кап! хлюп, хлюп!

Полез Гаврюшка к себе за пазуху. Вытащил оттуда малую пта́ху, лепечет застенчиво:

— Вот вам снегу́рье жарко́е! Отец подстрелил!

Сестра Маруся ему говорит:

— Мы таких милых птичек не едим. У нас снегирей из теста пекут. Жарких, румяных. Бабушка тебе сейчас даст, вынет из печки!

Снегири сами из печки. Что ждать, время терять? Прямо в Гаврюшкин рот!

Тот поперхнулся даже. После громко носом фыркнул. Будто длиннохвостый фаза́н пролетел, шумя своим цветистым шлё́йфом. Хохочет Гаврюшка во весь рот да и говорит:

— Что-то они у вас рассыпчатые?

Сестра Маруся смеется.

— Это от твоего снега радуга по всему свету!

Старушка Павловна улыбается.

— Ешь, ешь Богом положенное! Нечего вам с отцом в тайге птах губить. Загрустит тайга, занедужит. Останутся в ней лесные да звериные голоса. Может какая кукушка пролетит, у которой и своего гнезда нет:

Куку! Куку!
Из-за Гаврюшки
в тайге скука!

Вдруг все стали серьезные, сосредоточенные. И Гаврюшка стоит озадаченный.

Я ему говорю:

— Конечно, кукушке плохо, когда птиц нет. Любит она по чужим гнездам лазить. Ты бы отнес снегиря к толстому барону на станцию. Он и дроздов ест. Вчера ел дрозда и мурлыкал из Василия Андреевича Жуковского:

В Кельне,
мальчик
дрозда продавал
на базаре.
Кто-то купил
и поджарил!

— Ну что ж? Пойду! — оживился мною вдохновленный Гаврюшка и шмыг в дверь!

Уж вслед ему домашние возглашали:

«Стрелять не стыдится . . .
Ах ты, птичий убийца!»

Когда Гаврюшка еще стоял у порога, смотрел я на его белобрысую нечесанную голову, в бирюзовые глаза. В них таилось наше сибирское небо.

Обтрепанные обутки казались пьедесталом безграничных снегов наших.

И вот я подумал: что такое снег, как его понимать?

Тогдашняя наука прозаически и примитивно вещала: «Снег это мерзлые пары. Падающие с облаков, в виде хлопьев или клочьев. Самый рыхлый лед, заменяющий зимой дождь».

Конечно, можно было апеллировать к древним философам. Я вспомнил одного из семи греческих мудрецов. Основоположника так называемой милетской философии. Но обитая на анекдотическом и распущенном острове пылкой Эллады, он был помешан лишь на воде.

О мудреце и сами греки шутили: «Он и понятия не имеет о снеге. Недалеко от него ушли и другие философы!»

Лишь в «Псалтири» царя Давида и нашел прекрасные строки о снеге, В его покаянном псалме:

«Господи! Очисти меня от греха, и я буду чист. Омой меня и я буду белее снега . . .

. . . и воспрянут кости мои, Тобою порожденые!»

Но что же думает, что говорит, что поет о снегах наш народ, рожденный в снегах? Ими, как в колыбели взлелеянный.

«Уж ты, снег, снежок,
неизменный дружок!»

У нас и годы шествовали по своеобразному снежному календарю. Люди говорили:

— Два снега сошло, вот третий . . . Три года тому назад это было!

И добавляли:

— Первый снег за сорок дней до зимы выпадает. Деннóй снег не лежит. А первый надёжный выпадает ночью. И уже не сойдёт до самой весны!

— Мокрый снег на óзимь, тот же навоз. Снега наду-

ет, хлеба прибудет. Вода разольется, сена наберется!

Снегом холсты белили. Становились они как серебряная парча. Можно было шить облачения духовенству.

В захолустной лесной деревеньке жил у нас старенький батюшка. Ходивший по снегу в ла́потках и служивший в холщёвой ризе.

У него венчалась моя мать. Ночью, в метель... В ветхие двери древней церковки несло снегом!

После венчания, батюшка, ласково улыбаясь, обратился к матери:

— Не страшись тьмы ночной, бури снежной! У нас лён — бирюзовы цветики, — в день святого Митрофана, покровителя льна, сеяло семь Олён голубоглазых. Любовью Божией озарённых. Была и святая мученица Дарья. Бели́льница холста, память которой совершали в марте месяце, девятнадцатого числа. Вот, в их ризе тебя и перевенчал!

После, обернувшись к отцу, тихо, предостерегающе произнес:

— Это тебе на га́йда тройка, снег пушистый. Теперь тебе надо остепени́ться. В снегах услышишь последний сигнал. Глас призывающий ко Господу!

Шли годы. В нашем календаре снега́ менялись снега́ми. По ним вели счет.

Белыми пушистыми снегами, в простых деревянных санях, привезли отца, погибшего на своем посту.

Продрогший мужик, в полночь, стучал кнутовищем в ветхие, стонущие, заснеженные ставни.

— Принимайте гостя! Там у вас, в углу, Спас Звёздный. Он согреет!

Похоронили отца в снегах. Напротив нашей маленькой, старой кладбищенской церкви. Под белоснежными березками. Летали снегири, певчие пташки перво-зи́мья.

Вскоре скончалась мать. Четыре дня пролежала она в больничном сарае. Сарай не запирался. В разбитые ворота нанесло целый сугроб. Покойницу занесло снегом.

Могильщики рыть могилу отказались, был лютый мороз. Меня тогда не было дома, я был в скитаньях.

Моя сестра сама вырыла могилу. От кирки и лопаты, при ударе о звеневшую, заледеневшую стальную землю, летели искры. Но сестра поморозила руки. В четверть аршина глубиной была могила. Покойницу прикрыли мерзлыми комьями земли и снежком. До весны, до Рáдуницы!

Когда у нас в народе думали высказаться о хороших качествах человека, то молвили: «Душа у него чище снега!»

Вот я так и думал о матери. Нежном цветке. Обреченном жить среди нас, снежных людей, имевших ледяные души. Видя подснежники, всегда вспоминал мать.

Когда из нашей избы вышмыгнул Гаврюшка, охотников сын, к общему разговору присоединился старый николаевский инвалид. Перед этим молчавший. Инвалид сидел у пылающей печки. Постреливали дровишки. Обдавало его искрами. Но он спокойно потягивал свою трубочку.

Трубочка была замысловатая. С вырезанным на ней двуглавым орлом, и с медной ковырялкой на железной цепочке. Трубочка представляла киль державного корабля. С якорем и якорной цепью. Инвалид поразмыслил немного в мечтательной позе, пуская дым в закопченный потолок, как во облаки.

Отвечал кому-то, нами не зримому. Как на военной службе, четко произнес:

— Так точно! Действительно! Как же можно убивать суворовскую птаху снегиря? Или ей подобную?

Гаври́ла Романович Державин, хотя и татарин, а понимал это. Тотчас же по кончине фельдмаршала Суворова, прослезился. Немедленно составил песнь, обращенную к суворовскому снегирю.

«Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снегирь?
С кем мы пойдем войной на гее́нну?
Кто теперь вождь наш? кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Кто перед ратью будет пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов,
С горстью россиян всё побеждать?

Быть везде первым, в мужестве строгом;
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и Богом;
Скипитры давая, зваться рабом;
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снегирь!
Бра́нна музы́ка здесь не забавна:
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! Что воевать?'

Суворовский снегирь, с фельдмаршалом Суворовым, все Европы облетел. Альпы и даже швейцарский чертов мост!

Как можно убивать столь прекрасных снегирей?

Свидетелей нашей громоснéжной и громокипя́щей славы? А эту трубочку мне наши моряки подарили, дальневосточники. На память об адмирале Чича́гове. Прозевал адмирал в двенадцатом году Наполеона. Быть бы императору в нашем плену. Тогда бы и война иначе повернулась. Это и Иван Андреевич Крылов в своей басне отметил!

Улыбались мне моряки, когда трубочку дарили: «Пылай во славу русского оружья! Но адмирала Чича́гова не забывай. С нами такого промаха не бывает!»

А вот с японским адмиралом, именем То́го, — промахнулись! Взгрустнуться пришлось . . .

Ну, с кем грех да беда не случается? А все ж могуча наша держава снеговая!

СТРАНИЦА ЗАСНЕЖЕННАЯ

(Иоанн Милостивый)

«Люди добрые,
единоутробные!
Падшие от древа,
от Адама — Евы . . .
Сделайте милость
ради Ивана Милостивого.
Сотворите милостыньку,
сирой, убогой . . .»

Вот, в зимнюю пору, в утре студеном, раннем, пред нашим заиндевевшем оконцем, слышу глас некий, вопиющего в ледяной пустыне.

За ночь, на стеклах оконца, незримый художник-скульптор изобразил нам на радость и утешение, целый сказочный мир. Пальмы и кипарисы, цветы и птицы, экзотические плоды и невиданные звери.

И все это в волшебном свете, в серебряных сложных блестках, как бывает на разукрашенных, праздничных, рождественских елочках.

Но до Рождества еще далёко. Подходит лишь рождественский пост, называемый филипповками, так как он начинается со дня апостола Филиппа.

Филипп был из Вифсайды, из одного города с Андреем Первозванным, проповедовавшим слово Божие и в нашей стране.

Филипп первый из апостолов сказал о Христе: «Мы нашли Того, о котором писали Моисей и пророки!»

Это апостолу Филиппу ангел Господень повелел: «Встань! И иди на дорогу, ведущую из Иерусалима на полдень. На ту, которая пустынна!

Он встал и пошел. И вот эфиоплянин, вельможа Кандакии, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, возвращался домой. Сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю. Филипп подошел к колеснице и услышав чтение, спросил:

— Разумеешь ли что читаешь?

Вельможа ответил:

— Как могу уразуметь, если кто не наставит меня?

И попросил Филиппа взойти на колесницу и сесть с ним.

Эфиоплянин тотчас же попросил разъяснить:

— О ком пророк говорит? О себе ли, или о ком другом?

Филипп отверз уста свои и благовествовал ему о Христе.

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Вельможа эфиоплянин сказал:

— Что препятствует мне креститься?

Филипп же ответил ему:

— Если веруешь от всего сердца, можно!

Вельможа произнес:

— Верую, что Иисус Христос Сын Божий!

И приказал остановить колесницу.

Они сошли оба в воду. Вельможа эфиопский и апостол Христов. И Филипп крестил эфиоплянина.

Когда же они вышли из воды, Дух Божий сошел на эфиоплянина в виде голубином, как при крещении Господнем.

Филиппа ангел Господний взял для проповеди в иные места, так что эфиоплянин апостола больше не видел.

Но путь свой эфиоплянин продолжал дальше в радости великой, счастливый тем, что стал христианином.

Апостол же Филипп, проходя многие страны, благовествовал всем городам и селениям, а также и людям пасшим стада в пустыне, пока не пришел в город Кесарию.

Стоя в нашей избушке, у заснеженного оконца, я подумал, что действительно сегодня у нас день Иоанна Милостивого.

Вспомнил, что мне моя бабушка когда-то говорила: «Пост приводит к вратам рая и милостыня отверзает их!»

С этими мыслями внезапно раскрываю оконце, движимый чувством сострадания, желанием немедленно пойти на помощь.

Со двора обдает меня кружащимися снежинками. Четко отчеканенными звездочками и крестиками. Они падают на меня и на мне тают.

Наша домашняя ручная белая голубка вырвалась через оконце в метель, черкнув по мне крылом, и села на плечо *заснеженной страннице*. Заглядывает ей в лицо, тоже ждет подаяния. Она любит, чтоб ее угощали.

Я страннице кричу:

— Сегодня действительно Ивана Милостивого! А завтра моего Ивана Златоустова: завтра я именинник.

Вот тебе целый каравай и пятачок на ночевку. Пробирайся в богадельню, там и даром пускают погреться Может тебя и на всю зиму оставят, дадут теплый угол. Спрашивай у прохожих, как туда добраться, люди укажут. Может какие и у себя приютят!

Подошла ко мне моя мать и меня упрекает:

— Что ты кричишь, да похваляешься. Именинами люди не хвалятся. В такой святой день в тихой молитве пребывают. Странницу пятачок не устроит. Беги на крыльцо, зови ее к нам. Скажи, что калитка у нас повсегда открыта!

Вошла к нам в избу, из метельного крещения, *заснеженная странница.* Показалось мне, что само солнышко пришло к нам в гости.

Лучиками от нее исходила улыбка на божничку, на иконы, на лападку, а оттуда на нас. Она присела на лавку и заговорила тепло и ласково:

— Вот про царя Ивана Васильевича Грозного все помнят. Сколь о нем и сказок, и песен, и поговорок:

«. . . Подымался
великий князь московский,
Иван-государь Васильевич.
Подходил
под Казанское царство,
с теми ли стрелецкими
полками,
с теми ли славными
казаками . . .»

А что мы знаем про Ивана Милостивого? Или о слове таком всечеловеческом «милость»? Лишь у Бога милости много. Бог на милость не убог. Велик Бог милостью.

У нас всяк боярин свою милость хвалит. Да и цари тоже. Бывают цари и не грозные, с монаршею мило-

стью. А и про нее царю, иной порой, прямо в глаза говорят: «Милость твоя велика, а не стоит и лыка!»

Вот и духовенство . . . Подступают к нему голодные мужики: «Милости просим, отец Абросим! Отец честной! Ты обещал весной, а теперь осень. Обнищались, изголодались. Хлебца просим!»

Купечество также. На посуле милостивцев не оберешься, да на деле-то их нету. Лишь говорят, приговаривают. Будто заговор заговаривают: «Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком. А задаром мы не помогаем. Люди мы торговые!»

Когда все уселись за стол, потрапезовать чем Бог послал, в великой к нам милости, старушка Павловна, ссыльная поповна, слезла с печки, подсела и прочла нам из Псалтири:

«Очи всех устремлены на Тебя
и Ты даешь им пищу их
в свое время.
Открываешь руку Твою
и насыщаешь все живущее
благословением . . .»

А моя бабушка прочла наизусть: «Очи всех на Тя, Господи, уповают», — молитву перед принятием пищи.

Старушка Павловна тотчас же обратилась к страннице:

— Ты . . . Ты што ж духовенство порочишь, анекдот кощунственный про отца Абросима сочинила? Беспоповщица ты какая, или што?

Та ей отвечает:

— Не беспоповница я, а ясашная. Живем мы с мужем на Алтае у самой китайской границы. И нам доводится платить дань и вашему царю и китайскому императору. Вот и ходим по свету, побираемся!

Павловна говорит:

— А нам от вашей дани какая прибыль? И наш царь получает и китайский император получает. А на дань-то с нас берете? Может каким налетом, как немирные киргизы?

Странница оправдывается:

— Нет, мы такими худыми делами не занимаемся. А побираться побираемся, что греха таить. Сама посуди, откуда достать, как не с милостыньки!

— Ну тогда пей, ешь, отдыхай у нас перед трудной дорогой. Пока погода не станет жалостливей. Как-нибудь с Божьей помощью поможем тебе в общих усилиях. У нас и люд не без милости!

Разговор опять перешел к Божьей и человеческой милости и к Ивану Милостивому, день которого чествовали.

Павловна страннице говорит:

— Вот ты на духовенство . . . А Иван Милостивый, будучи патриархом александрийским, роздал все свое имущество бедным. И был защитником людей, впавших в беду или нищету. Где Египет, и когда это было. А люди по всему свету и по сей час помнят святителя Ивана Милостивого, чтят его святую память!

Было это давным-давно. Все то, о чем я теперь пишу. Но вот сейчас, случайно мне попалась новая книжка, где сказано, что недавно в Старой Ладоге, в Рюриковом Городище, в церкви святого Георгия, нашли древнюю икону, с изображением святого Иоана Милостивого. Автор этой книги также сообщает, что изображения сего святого можно встретить по всему свету.

И в греческой Каппадокии, и на Кавказе, и в Болгарии.

Были его изображения и в Сербии, в церкви Богоматери, в Студенице, и в церкви Спасителя в Раванице.

А также в иконохранилище Морозова, где святой

Иоанн Милостивый изображен вместе с Божией матерью.

В Рюриковом Городище, в церкви святого Георгия, можно видеть и апостола Филиппа, крестившего эфиопского вельможу. Живописец поместил его среди чудесных райских садов, что мне опять напомнило метелью *крещенную странницу*.

У нас же, в Сибири, не было такой церкви и такого дома, где не было бы иконы Ивана Милостивого. Но не всегда мы этого святого помнили.

ЧЕРНОЕ ОЗЕРО — НАШЕ ОЗЕРО

> «В Нашем озере цветочки
> краше царских лилий,
> в них глядятся звезды-очи
> светлых Божьих скиний» . . .

Когда-то, в давние времена, боясь татарских наездов, город наш построили среди непролазных болот. Да еще Кúя-река облегла нас с трех сторон, каждую весну угрожая наводнением.

Тогда вспоминался дедушка Мазáй поэта Николая Алексеевича Некрасова:

> «. . . Всю эту местность вода поднимает,
> Так что деревня весною всплывает,
> Словно Венеция . . .»

Наши заречные деревеньки совсем скрывались под водой. В городе сносило дома, сараи, заборы. Деревянные тротуары всплывали, и мы, мальчишки, вооружившись шестами и баграми, вскарабкивались на них, превращая их в корабли дальнего плавания.

Дедушка Мазáй спасал зайцев. Нам же приходилось выручать наших обывателей.

Помимо реки и болот было у нас два озера, оба называвшиеся Чёрными — верхнее и нижнее.

Верхнее находилось за винокуренным и кожевенным заводами, пересыльной тюрьмой и еврейским, татарским и польским кладбищами.

Другое за нашими казармами и солдатским садом. Неподалёку от деревни Байм, поселившейся на руинах татарской деревни с таким же названием. Оставившей за собой ее наименование.

Нижнее Чёрное озеро было загадочно тем, что с прилегавшей мимо него дороги исчезали одинокие путники, пьяные мужики с телегами и конями, возвращавшиеся с базара. Барские кареты с барами и кучерами, лихие почтовые тройки с колокольцами. Напыщенные почтовые чиновники в ясных орлённых пуговицах и со шпагами. Исчезали также деньги или сопровождаемые, казенная и обывательская корреспонденция.

Лица духовные, подъезжая к Чёрному озеру, робко творили крестное знамение и шептали: «Чур меня, чур!»

Привязав вожжи к тележке, пускали тощую лошаденку одну, а сами обходили заколдованное место стороной нашего Острóга. Делая крюк версты полторы.

На тревожные крики солдаты открывали пальбу и часто ухлопывали даже лиц вопивших о помощи. Больше всего они боялись нападения на Острог, за который строго отвечали. До другого, чего-либо происходящего, им не было никакого дела. По некоей поговорке:

«Солдат-служба,
не будь досужий.
В пустое не вникай,
ни на кого не уповай,
сам себе помогай!»

Становой пристав и господин исправник вовсе избегали сих каверзных мест. Если же по обстоятельст-

вам службы, им приходилось здесь ехать, то получались «оказии» вроде кавказских, уже описанных Пушкиным и Лермонтовым. Все были вооружены, что называется, до зубов. Не хватало лишь пушки.

Какие-то дружеские или враждебно настроенные существа вылезали из болот, черные как татары, белобрысые что чудь. Запаливали где-то похищенные железнодорожные петарды, заранее заложенные вдоль проселочной дороги.

Петарды с отвратительным визгом взрывались, пугая лошадей, а иногда и калеча их.

Места возле верхнего Чёрного озера, и, далеко округ, отличались безлюдьем и тишиной. Были поэтичны и овеяны грустными воспоминаниями.

Надо было выйти на горку, к загородному Кресту. Куда ежегодно совершался крестный ход, собиравший весь город и окрестные деревни. Где можно было слышать: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»

Святое славословие разносилось великой равниной, по безкрайной зеленой тайге и светлым березовым рощицам. Дивной райской птицей, в крыльях архангельских проносилось над городом. За реки Ки́ю, до святых гор Арчика́сских.

Дорога шла мимо артиллерийского городка, большого квадрата, ушедшего в землю, и выходила к берегам исчезнувшей речки Безымянки. Вскоре показывались развалины старой мельницы.

Вспоминались пушкинские строки из «Русалки»:

«Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неводомая сила . . .
Знакомые, печальные места!
Я узнаю знакомые предметы
Вот мельница! Она уж развалилась . . .»

Когда-то по речке Безымянке копошилась жизнь, красовались огороды, ее свежие живительные струи поили верхнее Чёрное озеро.

С исчезновением речки озеро зачахло, ушло вниз, как бы провалилось в обрывистые, непрочные берега. Не видно было его дна из-за изсиня-черной воды, похожей на нефть,

Может здесь чего колдовал господин Нобель, нефтяной дворец коего находился неподалеку, где он торговал керосином.

Но что было красой озера, так это серебряные осинники. Вечно трепетавшая листва их, похожая на мириады мотыльков, стремящихся улететь, радовала взор. Тогда и самому хотелось иметь крылья!

Всего чудеснее были незабудки. Множеством миниатюрных бирюзовых звезд они выглядывали из прибрежных густых трав, несмело пробивались к солнцу. Как бы боялись его ласки.

Хотя пелось в старинной песне:

«Незабудочка цветочек
Рано в поле расцвела . . .»

Все же незабудки, во множестве, у нас появлялись лишь на склоне лета.

О незабудках было несчетное количество песен и легенд. Рассказывали наши старики, что неким молодым людям, юноше и девушке, нравились тихие, уединенные берега озера.

Они подолгу сидели склонившись над водой, смотрели вниз, как плывут облака в сказочные неведомые края . . .

Тогда лишь под обрывом, у самой воды росли незабудки. И девушка однажды сказала юноше:

«Спустись, сорви мне один цветик,
чтобы я не забыла тебя!»

Юноша спустился, но стал тонуть. Так как берега были обрывистые, он лишь успел бросить сорванный цветок и воскликнуть:

«Не забудь меня!»

С тех пор и стали незабудки называться незабудками и расти по всей великой равнине . . .

Третье озеро, которое мы называли нашим, возникло случайно. Брали окрестные мужики землю для огородов и заваленок. Сдирали дёрн на могилки и цветочные клумбы — образовалась впадина на лесной полянке, у нас за усадьбой.

Местность у нас дождливая, низинка вскоре заполнилась водою. По примеру господина Нобеля, разводившего на своем болоте карасей, мы тоже завели рыбку. Зимой, по льду, катались на коньках. И назвали озеро Нашим озером. Оно вошло в историю великих и малых озер.

ГЛАЗА ОЗЕР

Родных озер прекрасна бирюза.
Они блестят как голубые очи.
И в ясный день, и в сумрачные ночи —
В тревожный час, когда идет гроза.

И все они — единая слеза,
В них небо дремлет в радужной оправе,
В кувшинках, ряске, кашке и купаве . . .
Их тишь не тронет даже стрекоза.

Куда глядят озёрные глаза,
Что отражают взорами своими,
Кто начертал ветвями Божье имя
Над заводью, где клонится лоза?

ДЕРЕВЕНЬКА КАМЫШИНКА

«. . . Деревенька Камышинка
притаилась в камыше,
что мышка . . .
А всё слышит! . .»

Что такое камыш по книжке естественной истории? Растение и преимущественно болотное . . . Вот и всё!

Переводя на практическую суть дела: на Днепре камышом крыши кроют и печи топят. А некоторые виды камыша у нас, в Сибири, именуют тростником, очередом, черéтом, черетянкой.

Всюду, по всей необъятной родине нашей, камышистые места преисполнены всякой живностью. Утки сидят в камыше. Порхают камышевые синички, воробьи камышники. Шныряют болотные курочки. Их по нашим местам зовут чёртовыми курицами. У нас, куриц этих, два вида — большие и малые. От них богобоязливые старушки открещиваются, как от нечисти.

Действительно, камышовые заросли, да и сам камыш, веками являлись причиной каких-то непонятных суеверных страхов. Но были страхи и обоснованные.

В каспийских камыши́щах водились кабаны́. Старинные народные песни пели о камышничках-разбойничках, притоны коих таились в камышах.

«Ай, на речке, на Камышинке,
Там жили люди, люди вольные.
Всё донски́ казаки, да яицкие.
Собрались они во единый круг:
Ай хто у нас, братцы, атаман будет?
Ай да атаман будет

Степан Тимофеев сын!
Стоял, братцы, Степан,
Во трубу трубил . . .»

Может и не в камышовую . . . Как сиреною морскою, открыто провозглашал: «Идем на Вы!»

И ответил ему государь московский Алексей Михайлович тишайший: «Божией милостью, мы, царь православный . . .»

Пастушки-подпаски ладили из камыша тростниковые дудочки-сопелки. Была в них невыразимая чара, идилистическая романтика.

Да и сами камыши пели по всему неоглядному пространству нашему. Кому о чем-то забытом, потерянном. Одному о потерянной воле, другой сам пел:

«Пока зацветут камыши,
в нас не будет души.
В жизни убогой,
отлетит душа к Богу
белым лебедем
к Христовой обедне!»

Камышами, с давних пор, так проникласъ наша жизнь, что порою чудится будто мы родились и помрем в камышах.

Помните картину художника Василия Васильевича Верещагина «Забытый»? Из нашей туркестанской эпопеи. Я видел эту картину: лежит распростертый человек в камышах, уставившись мертвым оком своим в знойное, безжалостное небо. И над трупом уже витают коршуны . . .

И воочию видел я такого покинутого, в гражданскую войну. Чуть не наступил на него ногой, пробираясь через дебри. Надо мной летали степные орлы-стервятники, как над своей добычей.

Николай Васильевич Гоголь задумал большой исторический роман из прошлого Украины, озаглавленный «Гетьман». Начинался он у Христовой Заутрени, в церкви села Камышенки.

С древних време на Святой Руси было необъятное множество городов, сел, деревень, речек, озер, болот и всяких урочищ камышовых.

Есть Камышльбаш озеро, неподалеку Аральского моря и города Шевченки. Камышенят-Город, в Сибири, возле Нижнеудинска. Камыш-Заря — город в Запорожской области. Камышкурган — город Туркестанского края. Наконец, Камышева́ха и Камышеватская. Камышин и Комышлов города. Даже в Сирии, по железной дороге из Мосула в Алеппо, где живет алеппский патриарх, есть Камышлы-Город. От него, за Армянским Тавром, и наша Армения близко.

Как понять это камышовое обширие? Действительно, камыш таил в себе что-то!

Земский, из рассказа Ивана Сергеевича Шмелёва «Глас в нощи», который вообще не верил ни во что непонятное, сказал бы вам в утешение: «Наука современем объяснит! . .»

А пока что, разводил бы недоумевающе руками и неопределенно хмыкал.

Но я что-то далеко ушел . . . Вот так же, как в «Гетьмане» Николая Васильевича Гоголя, однажды к нам, в Христову Заутреню, прибыло неизвестное лицо.

Это была девушка, которую привезла моя сестра из деревеньки Камышинки. Где сестра была учительницей в церковно-приходской школе.

К Светлой Заутрене девушка не пошла, объяснив свое нежелание усталостью.

— Спать хочу!

И немедленно заснула!

Когда мы вернулись из ближайшей к нам, кладби-

щенской, церкви, с освященными куличами, пасхами и крашенными яйцами, над девушкой можно было уже петь «со святыми упокой»: она спала, как убитая.

Хорошо, что она не заперла двери, когда мы уходили к Светлой заутрене. А то мы не попали бы в избу. И нам пришлось бы разговляться под открытым небом.

Впрочем, это не плохо. «Совершенно наступило утро», как у церкви села Камышни, на Полтавщине.

Птицы пели, пробуя голоса свои. Явившись утру во всей красе нарядов своих. Солнце играло. Оно всегда играет в Пасхальное Утро!

Еле разбуженная девушка отказалась разговляться. Никакие увещевания и мольбы не повлияли на нее.

Не соблазнили ее ни куличи, ни пасхи, ни крашеные яйца. Ни голоса птиц, ни играющее солнце.

— Спать хочу! — был чуть внятный ответ.

Оказывается, камышенская девушка страдала какою-то сонной болезнью.

Как и многие в той округе. Пришлось везти ее в томскую университетскую клинику, где она поправилась.

После она была учительницей, как и моя сестра. И была энергичной и жизнерадостной.

Однажды я побывал в Камышинке. Затерялась она у Камыш-речки. На берегу Камыш-озера, речной старицы. Затаилось, что мышка . . .

И несколько походила на другую деревеньку, именуемую Затишьем. Прилепившуюся на другом берегу.

Есть у нас Затишье —
Тихий уголок,
Деревенька мышья.
Чуть дымит дымок.
    Избы невелички,
    Каждая с пенек —
    Цветик на божничке,
    Теплый огонек.

Церковь на отлете
Дремлет у тайги —
Крестик в позолоте,
А кругом ни зги . . .

Звонами не часто
Совесть бередит,
Но зато не раз-то
В душу поглядит.

Попик в старой ряске,
Бледный и худой,
Над пучиной тряской
Крестит всех водой.

С миром провожает
Мертвых на покой
Молодость венчает
Ласковой рукой.

Дождика попросит
В святцы заглянув,
И хоругвь выносит
Нивы колыхнув.

Ищет правду в небе,
Верит в чудеса,
О насущном хлебе
Молит небеса.

По весне скотину
Окропит в лугах.
Не сгибая спину
Вечно на ногах.

Спаса славит тихо
И Миколу чтит.
Здесь беда не лихо —
Деревенька спит . . .

Зо́сима, Савватий
Стукнут под окном:

«Эй, слезай с полатей
В подвиге святом.
    Распаши земельку,
    Стог повороши,
    Попостись недельку
    Для своей души!»
Попик на Затишьи
Пашням покадит
Деревенька мышья
Ульем загудит.

Камышенка и Затишье и поныне в душе моей. Как что-то святое и невозвратное, в камышах затерянное. Но надо верить в светлое, всеобщее наше преображение!

КОЛЫВАНЬ

«. . . В Колывани
горный камень
пьедестал для человека.
Добывай из камня пламень . . .
Бей в кремень
началу века! . .
(Из новых алтайских песен.)

«Куполообразные вершины
У Колыванского хребта.
Но составляют склеп единый,
под знаком тяжкого креста.
И Колывань —
порфир и мрамор,
и яшмы вид . . .
И сей гранит,
как намогильный камень
замер . . .
Нам о страданьи
говорит . . .»

О Колыванском хребте, в новой географической энциклопедии отмечено, что это горный хребет северо-западного Алтая. Наибольшая гора, называемая Синюхой, высотой свыше тысячи метров. Вот и все!

Но не сказано, что восторгался ею известный ученый Брэм, однажды проезжая мимо нее в непогоду. Солнце проглядывало из-за туч, вонзая в Синюху огненные мечи. И она сияла, в переливах светло-синего и темно-синего блеска!

Правда, в энциклопедии еще говорится, что по северным склонам Колыванского хребта и гребням, растут сосновые и пихтовые леса. По южным раскинулась степь. Колывань возникла в 1727 году, в первый год царствования императора Петра II, внука Петра Великого.

Образовалась она в связи с постройкой Колывано-Вознесенского меде- и сереброплавильного завода, существовавшего до 1799 года. До времен императора Павла Петровича, когда основали шлифовальную фабрику.

В годы советские, фабрика была преобразована в каменорезный завод имени И. И. Ползунова, для выработки яшмы, порфира, кварцита, мрамора.

Вспоминаются библейские времена. Завещание Давида-царя, в первой книге Паралипоменона:

«И заготовил я ... для дома Бога моего ... камни оникса ... камни красивые ...»

«Камни оникса в темных оправах
дремлют, как сфинксы
в мраморных храмах.
Многое знали камни пророки,
видеть устали, сон их глубокий ...»

А вот навеянное Апокалипсисом:

«... Основание первое яспис, второе сапфир, третье

халкидон . . .» Халкидон — это медистая урановая руда!

«Халкидон! . . Торжественно звучит-
в нем библейское, святое почивает.
Он векам о прошлом говорит,
о былом грядущему вещает.
Он недвижим, но стремится ввысь,
как фанфары храма Соломона . . .
Ты над ним, склонившись, помолись,
Как молилися во время оно!»

И собравшиеся горнорабочие, с их семьями, молились в колыванской церкви Вознесения Христова:

«В Колыванском Вознесеньи
люди Богу молятся.
Ищут в Господе спасенья,
аспидам прощенья! . .»

Ко времени реформ 1861 года, начатых царем-освободителем Александром II, к алтайским заводам было приписано около ста пятидесяти тысяч ревизских душ мужского пола.

Перед этой цифрой чичиковские мертвые души — детский лепет. Алтайские заводы строили Демидовы — почти неограниченные вассалы российских престолов.

В 1747 году заводы были взяты, специальным указом в ведомство Кабинета Его Величества. Заводы выплавляли, главным образом, серебро, а также свинец и медь. Имелся монетный двор, где чеканилась сибирская монета.

В период создания и работы алтайских горнорудных заводов, — нет худа без добра! — достигает большого развития сибирская техническая мысль.

Именно здесь совершаются выдающиеся технические изобретения, опередившие научно-техническую мысль Европы и Америки.

Алтайский механик И. И. Ползунов изобрел «огнедышащую машину», опередив на десятилетия мировых ученых.

К. Д. Фролов создал целую систему рабочих машин, приводимых в действие центральным мотором, явившуюся праобразом завода-автомата.

Его сын, П. К. Фролов, построил на Алтае первую «чугунную дорогу». В 1806 году, на пятый год царствования Благословенного императора Александра I, почившего в Бозе, во образе святого старца Федора Кузьмича, на заимке, возле города Томска.

«По чугунке, как по струнке:
то-то, мы . . . да то-то, мы . . .
А подале . . . Там не гулко,
середь ночи, середь тьмы,
тихо катится телега,
либо саночки ползут.
Там везут, наверно, беглых,
аль покойника везут!»

От несносных условий труда и быта, от всяческих реформ, люд убегал по-за Алтай в горные и таежные дебри, в поисках «Царства Христова на земле».

Воздвигали скиты, строили отдельные церковки. Возле них возникали заимки, деревни. Начинали распахивать долинки для «насущного хлеба». По-прежнему рыться в горах, добывая строительный материал и драгоценную руду. Местонахождение своих новых поселений тщательно скрывали от властей, избегая платить дань «антихристам».

«Алтай сияет в выси звездной;
и к небу руд подземный ток.
И над дорогою железной,
в оскале бездн, — живой цветок!
Пойду в тайгу послушать гусли,

скитов раскольничий завет.
Не все ль равно:
Китай ли, Русь ли . . .
Ты край родной,
тебе привет!»

ПОСОХ ИАКОВА И ИУДУШКА

«. . . И увидел во сне (Иаков), вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба . . .»
(Книга Бытия, глава 28, стих 12.)

«. . . И ропщет мыслящий тростник! . .»
Ф. И. Тютчев

Иных миров я жажду видеть звенья,
как лестница Иакова они.
Там сонмов ангельских услышу пенье,
там золотые, в ярких солнцах дни.
Лечу туда, землею вознесенный,
взращенный ею мыслящий тростник.
Вскормленный ею, ею окрыленный
и от нее приявший светлый лик.
Люблю тебя! О, мать-земля сырая,
с тобой закончу я волшебный путь!
Тобой рожденный, звездно-голубая,
с тобой хочу в надмирном отдохнуть!

Читаю бабушке из старинной книжки:

«В тысяча пятьсот шестьдесят третьем году, ходил царь на Литву, и посохи было, конный и пешей, восемьдесят тысяч девятьсот человек».

А бабушка меня перебивает:

— Да это царь от сохи брал по человеку. Столь народу и набралось в царское ополчение. Ну, были также, с бору да с сосенки. Чего не бывает? Говорят же у нас на Алтае:

«Идет Горыня ласковый,
у Горыни богатыря
дубинка красная!»

Ты мне лучше про посошки прочти. У нас сегодня беседа о созвездии «Посох Иакова!»

Взял я дедушкины записки и читаю:

«Посох, сошка, кий, ботожок, трость, — палка путника. Есть и архиерейский посох, жезл, как знак власти при пасении паствы.

Есть и посох пастуший, овчарный, с герлыгой на конце, для ловли овец за ногу.

Посох наших странников бывает с острым железным наконечником, для упора на льду или при гололедице, а также на скользком месте в распутицу.

Есть посох у наших северных поморов-тюленьщиков, род багра, черемуховая палка в два аршина, с хвостяной железной оковкой, для боя тюленя.

Посошком зовется также заздравная чарка на путь-дорогу. Первая на правую ногу, вторая на левую, третья на посошек.

Лучше на первой чарке остановиться, чуть-чуть ее коснувшись устами, из вежливости, из уважения к хозяевам.

А то и вовсе не трогать, не пить. Перекреститься и в путь. Иначе, путешествие не состоится.

Пойдет счет долгий, кончится дело последней горькой чарой, которая называется «под дорожку». С нею, с этой чарой, в вонючую канаву и свалишься!»

Дальше шли дедушкины приписочки:

«1) Идет беда
с посохом,
по морю,
как по-суху!

2) Кто чем и болен...
А посох да воля
легче цепей
и неволи!»

Вдруг скрипнула дверь и к нам входит наш местный странник, прозванный Посохом Иакова. Он был высокий, жиденький, худой, и в армяке, как некрасовский дядя Влас.

Но не было у него, как у дяди Власа, на груди иконы медной и на построение храма он не собирал.

Лишь при храмах кормился и среди прихожан христораедничал.

Властью духовной ему заботливо запрещено было отлучаться за черту города, чтобы не потерялся.

Он привел другого странника, пришлого, которому тоже все пути заказаны, звали его Иудушкой.

Иудушка был довольно плотный, чернявый, с орлиным носом и большими темно-карими глазами. Длинные, тяжелые, нечесанные волосы лежали на плечах мутными гривами.

Он был одет в грязный потрепанный подрясник и производил впечатление бедного заштатного священника. Но, кажется, он странствовал не каким-либо духовным лицом, а просто странником.

Посох Иакова вдумчиво произнес:

— Вот, мы с тобой, брат во Господе Иуда, в этом святом городе, как птички в клетке! Ты пошто от Христа отрекся, Христа продал? Теперь и мыкаем горе, несем свой крест!

Иудушка, державшийся спокойно, вдруг воспылал.

— Мне святого апостола Иуды, брата Господня, при крещении имя дадено, а не Иуды гадины. И сей Иуда, брат Господний, по-еврейски означает славный и празднуется два раза в году.

Девятнадцатого июня, в день преподобного Ивана Пустынника, и тридцатого числа того же месяца, в собор славных и всехвальных апостол Господних, в день Петра царевича Ордынского и святителя Софрония Иркутского!

Бабушка дала Иудушке высказаться, душу отвести, а потом, с прискорбием сказала:

— Что же ты, Иудушка, погрешившего человека поносишь? Гадиной его называешь, а он и так Господом наказан.

Иуда Искариотский на осине повесился. Труп его на-земь пал, даже земля в негодовании сотряслась. И требуха его лопнула, вывалилась, поползла. Стал он и без тебя, без твоих наговоров, гадом ползучим. Нам всем о нем молиться надо, может ему Господь простит. Пока все человечество с Богом не примирится, нет и не будет покоя нашей грешной земле и Царствие Божие к нам не приблизится.

Даже один единственный грешник, может стать препятствием для всеобщего преображения и всеобщей светлой радости.

Старушка Павловна говорила Иудушке также наставительно. Сама на бабушку поглядывала, как бы к ней обращаясь.

— В Святой Библии написано: «да произведет земля всякую душу живую, скотов и гадов и зверей. И стало так. И увидел Бог, вот хорошо весьма! И благословил Бог и зверей и скотов и гадов. И сказал: — Живите!» Святой праотец Гад, один из двенадцати сыновей патриарха Иакова, также Гадом назывался. Такое

у него святое имя было. Святая Церковь вспоминает его на предрождественской неделе!

Старушка Павловна рассказала нам про двух старушек-побирушек:

— Некая старушка-побирушка, однажды была рада. Ей, в день праотца Гада, никому не надой, бросила грошик в кружку другая старушка-побирушка. На грошик старушка-побирушка отслужида молебен о здравии болящего внучка Глеба, купила Глебу хлеба. А сама из святой кринички, выпила святой водички. Глебу зачерпнула и поскорей домой вернулась!

Воспылавший из-за Посоха Иакова Иудушка, после тихих слов бабушки и старушки Павловны, успокоился, просиял и сказал им:

— И то верно, родные мои!

Порывисто шагнул вперед, истово перекрестился в передний угол, где был у нас Спас Звездный, Вседержащий.

Зимой,
под инеем
божницы,
Спас Звездный
охраняет нас.
И день суровый,
в некий час,
в сиянье рая
обратится!

Молитвенно устремив свой взор на иконы, Иудушка пал на колени и стучал лбом о половицы. Старые половицы шатались и стонали.

Под иконами Иудушка увидел священную картинку. изображавшую мученическую кончину святых апостолов, и найдя среди них апостола Иуду, брата Господня, горячо обратился к нему:

— Святой апостол Христов, заступись за нас перед Христом и его Отцом Небесным, за меня — Иуду странника, за Иуду Искариота и за весь люд, род человеческий!

Посох Иакова тихо постучал в наш дырявый пол своим посошком звездным, вежливо подергал Иудушку за ряску и степенно-ласково ему шептал:

— Ну, помолились, пора и в путь. Время не ждет. Дело срочно, надо по кусочки!

И обращаясь к бабушка, говорит:

— У нас маковой росинки во рту не было! Христорадничать дело святое, надо натощак. И голос от этого жалостней, проникает в сердце!

Повытряхали они на стол из своих котомок, лежавших на лавке, всякую снедь христодарственную и говорили нам:

— Питайтесь, Христа ради! А мы пойдем, еще наберем, кто что даст!

На нашем столе, в мирном соседстве, ворохом улеглись постные поминальные блины и вареная печенка, ржавые зацветшие сухарики и мятые печеные яйца, селедочные хвосты и свиная требуха.

Выйдя за калитку Посох Иакова и Иудушка облобызались по-монашески и пошли звездославить, каждый в свою сторону города.

Иудушка, понасобиравши в слободе, под окошками, сколько мог, утолился. Сел у одних ворот на скамеечке. Перекрестившись, вынул что-то из котомки, вкушал.

Светило скупое сибирское солнце, но ласково дающее тепло и свет добрым и злым; Собор славных и всехвальных святых апостолов и молодой пчелы разлет, лето величавой поступью ввысь идет!

Подошли к Иудушке слободские мальчишки, из-за углов подкрадывались, ласково к нему обращались:

— Хлеб да соль, человек Божий, приятного аппетиту!

— Милости прошу! Может чего отведаете? Вот, предлагаю, вкушайте во имя Христово!

И раскрывал Иудушка, перед ребятами свою котомку. Ребята тесным кольцом склонились над нею, стали ее нюхать, громко фыркая, затыкая носы:

— Фу! Фу! Странник в калошах, а дух нехороший! Ты, Иудушка, зачем Христа предал, от Христа отрекся!

Побледнел Иудушка, исчезла его добрая улыбка. Медленно встал со скамейки, во весь свой рост и двинулся к перекрестку слободских улиц. Как воробьиная стая рассыпались от него мальчишки, и в отдалении образовали вокруг Иудушки большое кольцо, став в смелые, задорные позы.

Дойдя до перекрестка, Иудушка поднял свою смуглую, обветренную руку, покрытую ранами и язвами и провозгласил:

— Анафемы! На всех вас и на домы ваши и на слободу сию анафема!

Вернулся к скамеечке, взял котомку и пошел по домам, возвращать милостыньки.

Стучал в окошко и негодуя произносил: «Анафема!»

Кто только что дал кусочек печенки, получил поминальный блин. Кто дал шаньгу, приобрел слезящийся круглый комочек ее, из которого высыпался весь творог.

Так шел Иудушка от дома к дому, по всей слободе, пока не опростал котомку.

Долго слышалась его громоподобная анафема, пока не затихла вдали за нашим болотом.

Там где-то, над рекой Кией, собирал милостыньку Посох Иакова.

У голубой реки
цветут цветики
посошки.
От них, к небу
лесенка Иакова.
Под нею Богородица
плакала!

Когда я рассказал бабушке, что произошло с Иудушкой, бабушка тихо и грустно произнесла:

— Жаль, что Иудушка не устоял, не сдержался. В Библии рассказывается, что с пророком Елисеем такое же случилось. Какие-то дети смеялись над его лысиной, а он вознегодовал и проклял их. Погорячился, а надо было взять лаской. И зверь ласку любит!

Вечером, ложась спать, я прочел бабушке из дедушкиных записок:

«Божия
звездная рать
путь совершает
небесный.
Якова посох
чудесный
будет ее
охранять!»

А потом сказал ей:

— Да мы с тобой, бабуся, о созвездии Посох Иакова так и не договорили, а оно ведь, действительно, есть такое созвездие!

СОХАТЫЙ — ИЗ-ЗА АЛДОМЫ

Дым, съевший солце —
Якутская быль.

«. . . Над Нельканом и Аяном
пролетел олень в огне,
и в дыму . . . Над океаном!»

1

Из-за Алдомы прибежал сохатый. Всю ночь бежал, думал: «Еще день настал» . . .

В печальных, страдающих глазах его были огонь и дым вчерашнего дня.

Алдому переплыл, запыхавшись. Где брод — повыше камней, разгрызающих лиственницу, упавшую в воду.

Камни разгрызали лиственницу, как белые зубы кровожадной рыси разгрызают птичью кость. Вон, пролетели кулички, — спасаясь! . .

— Пюи, пюи!

Огонь и дым принес олень в красных воспаленных глазах своих. Весь день бежал. Не помнил, не понимал, — как безумный: «День или ночь?»

2

— Капсе!

Повернул ветвистые рога свои к Алдоме.

— Капсе!

Вместо солнца над тайгой, за Алдомой, глаз мертвой совы. Ноги человека, шедшего из Нелькона в Аян, принесли огонь и дым.

Огонь ел большие лиственницы и крепкие кедры как траву. А стелящийся и подымающийся дым съел солнце . . .

3

Вспомнил ветвисторогий все сибирские ручьи и реки, из которых не успел напиться — стал пить из Алдомы. В больших глазах его была неизбывная скорбь, как о чем-то навеки потерянном.

— Один остался.

Но, вдруг, почувствовал сохатый, что прижавшись к ветвям рогов его, широких, как ветви алдомского тополя, сидела испуганная белка.

Подумал сохатый. И в глазах просияла радость:

«Хоть кого-то спас . . .»

Нынче тихо на Алдоме, рядом Аян. Алдонцы и аянцы говорят:

«На Алдоме
мы, как дома . . .
Самим Богом
пасомы!»

И нелькенские люди тихие, откуда огонь пошел.

И дым затмивший солнце . . . Развеялся.

АЛЁНУШКИН КИТЕЖ

(Пасхальный рассказ)

«. . . Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка
выпили горя до донышка! . .»
(Из старинной сибирской
сказки.)

Давно это было. Сколь время-годов прошло. А может столетий. Ходили мы с отцом на Черное озеро, по вербу, к Лазаревой субботе.

Берега Чёрного озера обрывистые, опасные. Внизу, у самой воды — топкие. И черные воды озерные черными глазами зорко сторожат свое сокровище, светлые вербочки — малюсеньки золотистые пушинки с солнечными зайчиками . . .

Да, вот, я вам лучше быль расскажу таежную!

Жили старичок со старушкой, оба милые, оба хилые, в селе Тюхтети, как на край-свете, с дочкой Алёнушкой да с сыночком Иванушкой.

Старичок со старушкой поскрипели, поскрипели да и померли, Богу душу отдали. При стариках-то детки бедствовали, а померли старики и есть стало нечего, совсем обнищали. А идти по людям, побираться — стыдно . . .

Собралась Алёнушка в дальнюю работу наниматься, братца с собой взяла. Дома-то в Тюхтети, работы никакой, не к чему приткнуться: люди и сами без дела сидят, руки опустились — нужда заела.

Алёнушка и Иванушка идут путем-дорогой, тайгой тюхтетской несусветной, по широкому дикому полю неоглядному барабинскому, горами высокими, хмурыми, неприступными, по пустыням безлюдным, безводным, пылающим.

Шли, шли — солнце высоко, колодец далеко. Ни реки, ни ручейка не видать. Солнце палит, жара донимает, будто душа с телом расстается.

Идут-идут, впереди Алёнушка, позади Иванушка. Видит Иванушка, стоит коровье копытце, полно водицы.

— Сестрица Алёнушка, хочу глоточек водицы из копытца!

— Не пей, братец, теленочком станешь!

Иванушка не послушался, хлебнул водицы из коровьего копытца. Оглянулась Алёнушка, видит: идет

за ней теленочек, горько плачет, говорит ей человеческим голосом:

— Не оставляй меня Алёнушка!

Алёнушке стало жалко теленочка. Как его бросить? Пропадет, либо волки съедят. Говорит теленочку:

— Иди за мной!

Идет теленочек за Алёнушкой. Солнце высоко, колодец далеко. Ни реки, ни ручейка не видать. Жара еще больше донимает. Видит Иванушка лошадиное копытце, полно водицы. Жалобно мычит Алёнушке:

— Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!

— Не пей, Иванушка, жеребеночком станешь! — и пошла дальше.

Иванушка, крадучись, хлебнул водицы из лошадиного копытца и стал жеребеночком. Алёнушка оглянулась, видит идет за ней жеребеночек.

«Что делать? — думает Алёнушка. — Поведу за собой жеребеночка!»

Идут-идут, солнце высоко, колодец далеко. Ни реки, ни ручейка не видать. Солнце жжет, жажда донимает. Видит Иванушка козье копытце, полно водицы. Выпил водицы и стал козленком.

Зашлась Алёнушка горькими слезами, села на бугорок, под стожком, плачет:

«Козлик, козлик!
Оставайся возле.
Пойдешь по своей дорожке
Останутся ножки да рожки:
Волки тебя углядят,
Съедят!»

О ту пору вышел на поляну лесной царь Хан-Тайган.

— О чем красная девица плачешь?

Рассказала Алёнушка свою беду.

— Пойди за меня замуж! — говорит лесной царь

Хан-Тайган. — Я тебя наряжу в злато-серебро, в золоту парчу, в алмазы да в жемчуг, как в звездочки. Будешь есть яства вкусные, утоляться питьем сладким. И козленочек будет жить с нами.

Польстилась, не польстилась Алёнушка на его речи ласковые, вкрадчивые, а все ж подумала: «Надо нам с братцем нашу беду как-то изжить. А там видно будет, что Бог пошлет!» Стала Алёнушка у лесного царя, Хана-Тайгана, жить поживать, и козленочек с ней.

Вот об одну недобрую пору лесного царя, Хана-Тайгана не было дома. В набег ли он ушел, другие царствия покорять, либо в гости к кому надумал, к какому-нибудь соседу, такому же, как он царю могучему.

Откуда ни возьмись, приходит к хоромам лесного царя, Хана-Тайгана, к его золотому дворцу, баба-яга липова нога, голова глинянна.

Стала баба-яга под Алёнушкино окошко теремчатое и так-то ласково стала звать к себе на крылечко, в избушку на реке Нетече.

Та речка Нетеча течет не течет, а как болото топкое, зыбучее, тряское, вся подернулась ряскою.

Привела баба-яга Алёнушку на речку Нетечу, к своей избушке, на крылечко. Избушка на жабьих лапках, под старым гнилым грибом — поганкой. Баба-яга шасть с крылечка, накинулась на Алёнушку, привязала ей на шею жернов-камень и бросила ее в речку Нетечу.

Сама чем-то омолодилась, какими-то травами притворными, оборотилась Алёнушкой, нарядилась в ее платье царское, пришла в золотые хоромы лесного царя, Хана-Тайгана.

Никто бабу-ягу не распознал. Ни слуги царские, ни славны богатыри Тайгановы, ни Тайганово несметное войско Золотая Орда. Лесной царь, Хан-Тайган с походу вернулся и тот же не узнал.

Одному козленку все было ведомо. Запечалился он.

Каждый день выходил к бережку и жалостно Алёнушку звал:

«Это я, Алёнушка сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Пойдем под острожок.
К чему нам золоты палаты,
Мы волей богаты!»

Узнала об этом баба-яга и стала просить мужа, лесного царя, Хана-Тайгана: зарежь да зарежь козленка.

Лесному царю, Хану-Тайгану жалко было козленочка, привык он к нему. А баба-яга так пристает, так упрашивает:

— До страсти козлячьего мясца хочу!

Хану-Тайгану делать нечего, согласился.

— Ну, зарежь его!

Велела баба-яга своим приспешникам разложить костры пламенные, греть котлы чугунные, точить ножи булатные.

Козленочек проведал, что ему осталось недолго жить, говорит своему отцу названному, Хану-Тайгану:

— Перед смертью пусти меня на речку Нетечу сходить, водицы испить!

— Ну сходи!

Побежал козленочек на речку Нетечу, стал на берегу, жалобно поет:

«Это я, Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок.
Костры горят горячие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат булатные:
Хотят меня зарезати,
В котлах сварити . . .»

Алёнушка из речки Нетечи ему горькими слезами отвечает:

«Ах, братец мой Ваня,
Тяжол камень на дно тянет.
Трава цепкая в ногах моих,
Желты пески на грудь легли!»

Баба-яга ищет козленочка, всюду обыскала, по всех трущобах — не может найти. Посылает слугу ханского.

— Пойди, сыщи козленка. Приведи его ко мне!

Пошел слуга на реку, видит по берегу ходит козленочек, жалобно зовет, а из речки ему отвечают.

Слуга побежал во дворец ханский и рассказал лесному царю, Хану-Тйагану, что слышал на речке. Собрался народ, закинул сети и вытащили Алёнушку на берег.

Распутали цепкую траву илистую, сняли с шеи тяжелый камень. Окропили Алёнушку святой водой, ожила Алёнушка.

Давно это было. Сколь время-годов прошло. А может столетий. Ходили мы с отцом на Черное озеро, по вербу, к Лазаревой субботе.

Берега Черного озера обрывистые, опасные. Внизу, у самой воды — топкие. И черные воды озерные, черными очами зорко сторожат свое сокровище, светлые вербочки — малюсенькие золотистые пушинки с солнечными зайчиками.

Я скатываюсь с обрыва к Черному озеру, вязну, топну, кричу отцу:

— Трудно!

А он сверху отвечает:

— Это не трудно! Самое трудное в день судный. Святой Лазарь, друг Господень, тоже за вербой лазил, даром она ему не доставалась. А ну, сынку! . .

Вышли мы с вербочками из Черного озера на речку Нетечу. Отец говорит мне над кручей:

— Это Алёнушкин Китеж, так место это называется. Баба-яга здесь Алёнушку кинула. А подале Алёнгород

и деревенька Иванушкина. А еще дальше речка Кия и наш город, Святой Марии. А за рекой Кией, в далекой дали — Россия — Святая Русь!

Я спрашиваю отца:

— Куда наша Кия впадает?

— В Чулым. Там лесной царь, Хан-Тайган бродит, шепчет в камышах: «Пропала моя душа!»

А я отца утешаю:

— Светлое Воскресение Христово всем во спасение. Воскреснет Хан-Тайган с душой обновленной, с душой светлой!

ГЛАВА IV

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ СИБИРИ

СТАНИЦА ВАСИЛИЯ ДАНИЛОВИЧА ПОЯРКОВА

ШУХАЙ *

Дебри зеленые стонут,
море лесное — шухай.
Здесь следопыты не тонут . . .
Ляг под кустом, отдыхай!
Пусть тебе счастье приснится,
В явь обернется шутя.
Ишь, ключевая водица
блещет, пески золотя.
В осень дождешься пушнины,
Меха добудешь стога . . .
Празднуй тогда именины!

(Из книги «Тайга шумит».)

Передо мной «Наказная Память» якутского воеводы письменному голове Василию Даниловичу Пояркову:

«. . . велено ему Василию на те реки идти и государевым делом радеть, и серебряной и медной и свинцовой руды проведывать и совсем укрепить».

Речь шла о неизвестной еще «хлебной реке Шилке» и землях по ее берегам, богатых серебряной рудой, где живут «сидячие пахотные хлебные люди», а также о далеком Амуре.

---

* По-китайски тайга называется шухай.

15 июля 1643 года, хорошо вооруженный отряд, состоявший из 132 казаков, охочих людей и промышленников, выступил в поход. «Для угрозы немирных землиц» Поярков взял, как он писал в своем отчете о походе «пушку железную ядром полфунта, да на сто выстрелов и на запас и служилым людям для службы восемь пуд и шестнадцать гривенок зелья-пороху, а свинцу тож». Многочисленные струги Пояркова, как пишет Г. В. Карпов, поплыли вниз по широкой и привольной реке Лене до устья ее могучего притока Алдана. Этот путь занял двое суток.

Значительно труднее было подниматься вверх по Алдану. В течение целого месяца на веслах, а то и бичевой, струги медленно продвигались по живописной реке, среди вплотную подступивших к воде нетронутых диких таежных лесов.

Плыть стало еще труднее, когда свернули на правый приток Алдана, реку Учур. Русло реки, теснили подступавшие с берегов скалы и горы. Еще через десять дней дошли до бурной и порожистой реки Гонам.

Плавание по этой реке было поистине гореическим. Землепроходцы, не щадя своих сил, а подчас и жизни, упорно боролись с быстрым течением реки.

Кончилось короткое сибирское лето. Приближалась суровая беспощадная зима. Когда грянули сильные морозы и река замерзла, флотилия, скованная льдом, вынуждена была остановиться.

Пришлось рубить лес и ставить зимовье. С высоких прибрежных скал вдали вырисовывались контуры Станового хребта.

По установившемуся санному пути, на нартах и лыжах, Поярков отправился дальше, взяв с собой девяносто человек.

Оставшимся на зимовье казакам он наказал весной

перевалить через Становой хребет и, построив новые суда, спускаться на них по реке Зее.

Здесь землепроходцам стали попадаться первые даурские селения. Дауры дружелюбно встретили Пояркова. Жители этих мест занимались скотоводством и земледелием, действительно сеяли хлеб, разводили овощи.

Поярков подробно расспрашивал их о богатствах Даурской земли, особенно интересовался он рудными месторождениями. Но, по уверениям даурцев, все изделия из серебра, меди и золота они получали у китайцев, в обмен за пушнину.

Наконец наступила весна 1644 года. Вскоре пришел оставленный за Становым хребтом отряд казаков, который привез с собой провиант. Но запасов было мало. Поярков поспешил отправиться дальше.

Струги отважных землепроходцев поплыли вниз по реке Зее. Могучая река несла свои воды среди пологих холмов, сплошь покрытых густым лесом.

Вскоре стали попадаться даурские улусы, вокруг которых чернели пашни. На ярко зеленеющих пышных лугах бродили тучные стада.

Река Зея впадала в какую-то еще более широкую и полноводную реку. Поярков решил, что он, достиг неизвестной «хлебной реки Шилки», где живут «сидячие пахотные хлебные люди».

Но Поярков ошибся, это была река Амур.

Так русские впервые появились на берегах красавца Амура, летом 1644 года.

Амурская земля показалась казакам сказочно богатой. Рыбы в реке было еще больше, чем в Зее. А на земле . . .

«. . . родится шесть хлебов: ячмень, овес, просо, греча, горох, конопля, родится овощь: огурцы, мак, бобы,

чеснок, яблоки, груши, орехи грецкие, орехи русские», — писал Василий Поярков.

Далее он сообщал:

«. . . те землицы людны и хлебны, и соболины, и всякого зверя много, а те реки рыбны, и государевым ратным людям в землице хлебной скудости ни в чем не будет».

Теперь продолжаю свое повествование. Большая часть поярковских казаков полегла костьми на этом «хлебном» пути, от истощения и всяческих лишений и опасностей.

Но сделанные отрядом Пояркова открытия велики. Он первым побывал на берегах Амура, открыл неведомые реки и земли, привез описание виденного им края, впервые совершил плавание по Амуру.

Он был образованным, по тому времени, человеком и разработал и подал якутскому воеводе проект освоения Приамурья.

В память похода письменного человека Василия Даниловича Пояркова, на реке Амур, до моего времени сохранялась казачья станица с наименованием Поярково.

В станице Поярковой я был. Помню, как сейчас, старые деревянные избы, высокое крыльцо станичного правления, станичного атамана, молодого и энергичного, и при нем пологающееся число бородатых стариков в лампасах.

Помню высокий берег над старым руслом, живописный остров, а за ним широкие воды Амура, манчьжурская равнина, а за ней, на далеком горизонте, овальные зубцы волшебных гор-драконов.

— Задал нам задачу Василий Данилович Поярков! — говорил мне станичный атаман, пытливо всматриваясь в манчьжурские дали. — С того берега вас привезли китайцы?

— Да! — восторженно ответил я. — Китайцы . . . которые оказались эвенками!

— Ну, да это все равно, и те и другие наши друзья. А вот не знаю, как с японцами поладим!

Позже, когда у советов возникли дальневосточные конфликты, японцы в районе Поярково, по старому руслу Амура, внезапно проникли вглубь русской территории и высадились в Поярково.

В газетах тогда кратко сообщалось, что советская власть отдала распоряжение, во избежание недоразумений, не оказывать им сопротивления. Мне думается, что советские войска и население временно покинули станицу. Дальневосточный конфликт кончился поражением японцев.

Я бывал в гостях у русских, живших на китайской стороне, в прибрежной деревушке, напротив Поярково.

Видел ученье солдат, армию пробуждающегося Китая, города в флажках и китайских фонариках, совершал плавание по Амуру на судах нашей военной флотилии, считавшейся одной из лучших в мире.

Ездил на быстроходных катерах пограничной стражи, на комфортабельных пассажирских пароходах, залитых электрическим светом, на примитивных лодках орочен.

В китайских харчевнях, переполненных всяким замечательным и необыкновенным людом: моряками, охотниками, искателями золота, шеньшеня, или просто кусочка хлеба, ел китайские пельмени, ласточкины гнезда, болотных уток и чудесное жаркое из «чушики», которое было не что иное, как собачина.

Пил настоящий китайский чай, на обертках которого, на всех языках мира, была напечатана фамилия сибирского торговца Чурина. От чая несло старыми вениками и верблюжьим потом, но он был бодрящим напитком.

Слышал старую разбитую шарманку знакомого бродячего музыканта, игравшего вальс «На сопках Манчьжурии» и «Амурские волны».

Старая мартышка, в зеленом фраке, вынимала билеты на счастье и козыряла китайским солдатам.

Окончу эти строки и возвращусь вновь к навеянным воспоминаниям о тайге-шухае, которые я передал в моем стихотворении:

ЛЕСНОЙ ИВАН

Почуяв влагу, лезет лось рогатый
И волк за ним потянется к ручью.
Люблю зеленый мир, зверьем богатый,
Тайгу мою — родную и ничью.
Медведь — мой брат, лохматый, добродушный
Мостит берлогу, валит бурелом.
Летяга белка, снежкою воздушной,
Спешит к орехам, в свой дупляный дом.
Я сам какой-то сделался подвижный . . .
Иль леший кружит, волей захмелел,
И я теперь не городской, не книжный, —
Лесной Иван, каким и прежде был!

СВЕН ГЕДИН

Собрались набожно буряты
нас проводить в далекий путь.
И за ночлег не взяли платы,
потом заплатим, как-нибудь,
когда вернемся из Тибета . . .

Из книги «Замечательные люди Сибири»
Свена Гедина называют великим шведом.

Но мы считаем его не менее великим сибиряком и причисляем к замечательным людям Сибири.

Уже по одному тому, что ему в спутники были назначены самим государем императором забайкальские казаки-буряты.

Эти смелые и самоотверженные люди, исповедовавшие буддистскую религию, помогли Свену Гедину, более или менее благополучно, совершить путешествие к Лхассе, резиденции Далай-Ламы, буддистского первосвященника или буддистского живого бога, по тогдашним понятиям тибетцев.

Об одном из этих казаков, Шагдуре, в своей книжке стихов, я когда-то писал:

> Со мною спутник Свен Гедина,
> родной казак, бурят Шагдур.
> Степняк с душою бедуина,
> но весельчак и балагур.
> Он не дает скучать
> в дороге . . .

Если строго рассуждать, Свен Гедин прежде всего был великим шведом. И дело, конечно, не в росте.

Свен Гедин был невысокого роста. И даже несколько сутуловат. Но его голова хорошо держалась на крепких плечах. Как у нас в Сибири иногда шутят: «Не ладно скроен, да крепко сшит!»

За пенсне блестели глаза, полные энергии и воли.

Те, которым приходилось соприкасаться со Свен Гедином, невольно восхищались его прекрасным видом и с восторгом восклицали: «Неужели Свену Гедину минуло шестьдесят шесть лет!?»

Так он был юн, быстр и энергичен!

С каких пор Свен Гедин стал таким?

Еще на школьной скамье он увлекался рассказами о Давиде Ливингстоне, английском миссионере и путе-

шественнике, исследователе Африки и Австралии, упрекавшем белых в рабовладельчестве и оставившем по себе память благодетеля человечества.

Кроме того Свена Гедина интересовали странствия Стэнли, о котором в наше время говорили, как о человеке, открывшем Черный материк, заставшем в живых Ливингстона и встречавшемся с ним в Африке.

Но экспедия Норденшельда к северному полюсу, его поиски путей из Европы в Северную Америку, стяжавшего себе неувядаемую славу полярного путешественника, его плавание по могучему и величественному Енисею, который мы называли братом океанов, все возрастающая популярность Норденшельда, имели для Свена Гедина решающее значение.

И он сказал: «Несомненно у нас северян течет кровь викингов и я чувствую себя их прямым потомком!»

Но, как ни странно, великий швед, потомок викингов, северянин, в 1895 году, свое первое, довольно скромное путешествие, совершил не на севере, а в Персии и Мессопотамии.

Под впечатлением этого путешествия Свена Гедина, я когда-то писал:

Беспечный перс Омар-Хайям
мне повстречался знойным летом.
Стремясь к неведомым краям,
живу в песках, как он — поэтом.
Смотрю на звезды и пою . . .
О чем? О дюнах, о пустыне,
о караванах в дали синей,
рассеявших печаль мою . . .

Свен Гедин ехал верхом на лошади, с очень небольшим количеством денег, и весь его багаж умещался на его собственной спине.

Великий швед был беден. И не случайно его сестра,

Альма Гедин, утомленная вечными хлопотами, с материнской заботой о нем, не раз говорила: «Деньги и деньги! Их как-то и где-то надо достать!»

И пускалась в новые поиски.

Свен Гедин исколесил всю Азию. Со своими спутниками он обнаружил громадное внутреннее море, гораздо больше Каспийского.

Море существовало в ледниковый период, а сейчас там громадные цветущие оазисы.

Кроме того, благодаря путешествиям Свена Гедина, все наши представления о Туркестане несколько изменились и возникла новая научная теория о Гималаях.

В своих путешествиях Свен Тедин исследовал одну из великих пустынь, соседствующую с нашими владениями.

Она считалась самой дикой и нелюдимой, и более опасной, чем монголо-китайская Гоби и африканская Сахара.

Вспоминая эти его странствия, я в своей книжке стихов «Пески поют» писал:

Путем забытым Марко Поло
венецианского купца,
бреду в пустыне, дикой, голой —
моим скитаньям нет конца . . .

Во время этого путешествия Свен Гедин чуть не погиб от голода и жажды. В случайно обнаруженном болотце он выловил лягушку и живьем проглотил ее.

Утолив жажду вонючей болотной мутью, разулся и наполнив ею свой сапог, пошел спасать одного из своих спутников.

Такой героической находчивостью он превзошел одного американского епископа, заблудившегося на Аляске, съевшего свои сапоги, никого среди снегов и льдов

не спасшего, а, наоборот, поставившего в затруднительное положение свою паству.

Впрочем, быть может, епископ сам решил проблему, где достать другие сапоги.

Путешествие американского епископа, кажется, прошло без жертв, тогда как один из спутников Свена Гедина, страдая от жажды и не получив воды, в отчаянии выпил верблюжьей мочи и умер в страшных мучениях. Впрочем, что не случается на свете!

Путем Марко Поло Свен Гедин проходил через Китай, когда там пылала гражданская война.

Обошлось не без недоразумений. В Монголии его экспедиция была принята за аванпост генерала Фенга и против нее были высланы войска.

Но все кончилось прекрасно. Губернатор сперва предложил разоружиться. Но смягчившись от предложенного шампанского, экспедицию отпустил с миром.

В тех ли местах или в других Свен Гедин тогда снялся в обществе Танг-ю-луя, губернатора китайской провинции Джехола и патера доктора Мулие. Фотография эта мною хранится.

Губернатор изображен в фуражке, щиблетах и при шашке, а доктор Мулие, патер, снят в пантофлях, в белоснежной рясе, поверх которой надета китайская кофта.

Патер Мулие представительный мужчина с большой белой патриаршей бородой, и мне вспомнились стихи всеми забытого Александра Митрофановича Федорова, по которому, когда-то, у нас определялась интеллигентность человека:

«На вершинах Гималая
колыбелька золотая! . .»

Но Свен Гедин еще тогда заметил, что все же Китай, быстрыми шагами идет вперед, пробуждается.

Он нашел, что китайцы прекрасные рабочие, купцы, земледельцы. Свен Гедин ошибся только в китайских солдатах.

После я имел честь встречаться с ним на подступах к жемчужному Крыму, в северной Таврии, и интересоваться агитпоездом с китайской литературой.

Среди китайских солдат тогда были и сражавшиеся за «родная Кубаня», как острил писатель Аркадий Аверченко. И мои сибирские земляки-китайцы, исконные русские граждане, от легендарного утеса, с поэтическим названием «Заездка китайца», с живописной реки Мрас-Су.

Воспоминание об алтайской реке Мрас-Су, меня уносит к китайской реке Янцзы.

«Парус белый
Се-Гун-Чена
на реке Янцзы».

Не удивляюсь, когда шестидесятишестилетний Свен Гедин, с мечтательным огнем юности, говорил:

— Я люблю Азию. Чудесный мир. Глубокий, неразгаданный, богатый. Я не знаю ничего прекраснее, чем вечер в пустыне, когда сидишь у своей палатки, и под звуки мандолины следишь за тенями верблюдов, укладывающихся на покой. Или, когда караван пробирается через пустыню и не видишь его конца! . .

В этих бесконечных караванах есть что-то пророческое!

Закончу эти строки бурятской надписью, найденной в развалинах древнего монастыря, на полуразрушенной стене:

«Давно составлен план
спасения людей,
Предвечным Разумом
обдумано решенье!»

ЧЕККАН ЧИНГИСОВИЧ ВАЛИХАНОВ

(Потомок Чингис-Хана, почти наш современник)

Посвящается потомку Чингис-Хана.

Опять я в пламенной пустыне,
Брожу кочевником простым,
Не надо мне уже отныне
Внимать людским словам пустым.
Шатры в пути моем — отрада,
Холодный ключ — вина хмельней.
Свободы высшая награда —
Оазис, тишь густых аллей.
Ночное небо в душу глянет,
Когда проснувшись налегке,
Мой взор куда-то к звездам канет,
Как будто не был на песке.

В книге «Всемирные путешествия» А. В. Зеленин пишет, «что нельзя не упомянуть про романтическую личность Валиханова».

Сын одного из киргизских султанов Золотой Орды, Чеккан Чингисович Валиханов, был внуком хана Валия, правнук знаменитого Албай-Хана. И являлся потомком самого Чингис-Хана.

Получив образование в Омском кадетском корпусе, он сделался русским офицером и обращал на себя внимание своей замечательной талантливостью.

Генерал-губернатор Гасфорт послал Валиханова в секретную командировку, в орду киргизов, областей Кашгара, Алтышара и китайского Туркестана, для производства среди них научных исследований.

Валиханов переоделся в национальный киргизский

костюм и под видом *купца* отправился с одним караваном в Кашгар.

Мой запыленный караван
В пустыне знойной золотится.
Под ним песок плывет, дымится,
Как будто утренний туман.

Везу ковры из дальних стран,
Я был в Кашгаре, древней Лхассе,
И над опасностью смеяся
Пришел на отдых в дикий стан.

И сам я чем-то обуян:
Я тоже дикий, смелый взором . . .
Я не пытаю даль с укором —
Свободой счастлив, солнцем пьян!

Здесь ему удалось собрать много этнографических и статистических сведений. А также и драгоценные материалы, касательно внутреннего состояния Кашгара и его общественной жизни.

Между прочим, он впервые разузнал обстоятельства трагической гибели путешественника Адольфа Шлагинвейта и о дальнейших судьбах Хаджи Валихана-Тюре.

Вскоре после казни Шлагинтвейта (1857) террористическое правление этого тирана сделалось невыносимым для народа.

Так что, когда к Муссартскому горному проходу приблизилось значительное китайское войско, то кашгарцы с радостью встретили весть об этом.

Валихан-Тюре бежал в Кокан, китайцы вступили в город и произвели в нем жестокое избиение.

Чеккан Валиханов пробыл среди киргизов около полугода, а в 1860 году, приехал в Петербург, где занялся пополнением своего научного образования. И разра-

боткой богатых материалов, собранных им во время его рискованной и оригинальной командировки.

Однако же, вредный петербургский климат неблагоприятно отразился на его здоровье. И преждевременная смерть свела его в могилу, прежде чем закончены были его весьма интересные работы.

А между тем к тому времени в русской политике в Средней Азии произошли изменения. Сделалось очевидным, что спокойное обладание огромными степными пространствами невозможно до тех пор, пока граница будет проходить по открытой равнине, где орды кочевников находятся в неопределенном положении: отчасти вошли в русское подданство, отчасти оставались полунезависимыми. Находились в постоянном брожении и были опасны для мирного с ними сожительства. Громадная по своему протяжению иртышско-сибирско-оренбургско-уральская пограничная линия давно уже отжила свой век.

И, по самому ходу обстоятельств, явилась необходимость в перенесении этой линии на естественную грань, каковою могли послужить только горные хребты.

Одним словом, предстояло продвижение русских вглубь Азии и здесь-то Чеккан Чингисович Валиханов был бы незаменим.

В СИБИРСКИХ СТЕПЯХ

«. . . Ах ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась.
К морю Черному
Понадвинулась . . .»

А. В. Кольцов

(«Песнь о косаре».)

«По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах! . .»
(Сибирская народная песня.)

Помните чеховскую «Степь»? Было у покойного Антона Павловича такое замечательное произведение.

Маленький мальчик, с побережья Азовского моря, со знакомым священником, отправился в некое паломничество.

Пробираться надо через всю степь, казавшуюся бескрайной, особенно жуткой по ночам. Мальчик, задремавший на возу, вдруг проснулся, испуганный огромными фантастическими тенями.

Ему привидилось, что страшные великаны преследуют их. И он в ужасе вскрикнул:

— Великаны! Великаны идут!

Все всполошились. Но это оказались мужики попутчики, тихо и смиренно замыкавшие их своеобразный караван.

От них по степи тянулись длинные лунные тени.

Первые, более или менее самостоятельные, шаги моего земляка Ивана Васильевича Кулаева, скорее напоминают первые странички из жизни поэта Алексея Васильевича Кольцова.

Будучи сыном воронежского скотопродавца, юный Кольцов помогал своему отцу, в его делаеко не легком, а иной порой и опасном деле.

Такая судьба выпала на долю и юному Кулаеву. Зимой он должен был отправляться за семьсот верст, в город Бийск, для закупки скота.

При виде Бийска просвещенные россияне, ему сопутствующие, восторженно восклицали:

«Средь городов
страны российской,
есть незабвенный
город Бийск! . .»

А хмурые, деловитые сибиряки шутливо огрызались: «Бийск не Рассея. Может и разлапистый, да не такой косолапистый. Ты, Алеша, их не слушай!»

Первоначально скот покупался у киргизов, только что замиренных, верст за триста от Бийска.

Скотом киргизы торговали «между прочим», были страшные лошадники и еще совершали смелые набеги.

Киргиз никогда не расставался с конем и даже являясь в гости к своему соседу, юрта которого была в нескольких шагах от его юрты, всегда садился на коня.

Когда-то я давал летнюю картину этих изумительных мест:

Отрадно петь про дикие поля,
Степные реки, тихие озера.
И шорох трав, и крики журавля,
Ковры цветов, куда ни кинешь взора.
Прекрасны — вихрь большого табуна,
Полет орла, ночной грозы раскаты,
Глухой порой дозорная луна.
Курганов древних голубые скаты.
У юрт случайных поздний разговор,
В живом кругу киргизских одеяний.

Стена далеких, будто тучки, гор . . .
В дымку костра конец моих скитаний!

И записал киргизскую песнь:

«Где ступит голубой мой конь,
Лазурные цветут цветы.
Степь умчалась далеко-далеко,
Где проскакал мой верный конь.
Там жаркие растут цветы . . .
Родина! Где ты? Где ты?
Моя желанная . . . Как вздох мечты!»

Весной, юный Кулаев, приблизительно в апреле месяце, скот перегонял пастбищами, голов по двести, в город Красноярск, куда скот поступал лишь в августе. Затем по реке Енисею, именовавшемуся у нас братом студеного моря-океана, скот отправлялся на золотые прииски. В этих дальних и небезопасных поездках, взятый отцом из четвертого класса гимназии, в другую школу, называвшуюся — жизнь, юный Кулаев не имел времени для досугов.

Но это было ему в пользу, он привыкал к трудной деятельности будущего.

В воспоминаниях об этой поре жизни, в записках самого Ивана Васильевича нигде не находим выражения неудовольствия или ропота.

Скитальческая деятельность юного Кулаева, как поэта Кольцова, давала возможность не расставаться со степью, с природой, своеобразными людьми и своими одинокими думами.

В этих же кулаевских местах, несколько позже, и я встречал степь своим приветствием:

ЗДРАВСТВУЙ СТЕПЬ!

Степь. Бурьян. Ковыльной далью
Зачарован жадный взгляд.

Путь лежит широкой шалью
И цветы, как жар горят.
Конь, едва земли касаясь,
Рвется небо увидать.
Еду, солнцу улыбаясь.
Здравствуй степь —
Крылатых мать!
На твоем лечу просторе,
О тебе крылом пою.
На, возьми, степное море,
Душу вольную мою!

Юный Кулаев любил вечерний степной огонек. Варилась полевая походная каша, пельмени, чаек.

Ему, после целого утомительного дня, был отраден ночлег под открытым небом, в траве-ковыле.

Любил ездить верхом, целые дни, а другой раз и ночи, не слезая с коня. Правда, в этой жизни далеко не все являлось поэзией.

Не говоря о неудобствах, ему случалось мокнуть под проливным дождем. А еще хуже, под «осенним мелким дождичком», как пелось в одной старинной народной песне. Страдать от снега, стужи и пронизывающего ветра.

Спать на голой земле, защищаясь лишь войлоком или овчиным тулупом. Под хлест дождя и рокот разгулявшихся речных и озерных вод.

Но в добрую пору, в ясные теплые дни, вольная степь вознаграждала за все испытания.

Природа, с ее дикой красотой, невольно заполняла душу отрока и юноши Кулаева. Даже восемьдесят лет спустя, не забыл он этих картин природы.

Иван Васильевич своим красочным языком сибиряка, описывал их так, как будто эти картины стоят или проносятся перед ним сейчас. Будто он их снова недавно видел.

Возвращаясь домой юный Кулаев проводил время в родном отцовском доме, в нескольких верстах от старинного торгового села Тюльково, расположенного на берегу речки Журы, притоке татарского Чулыма, овеянного легендами. Недалеко от наших мест.

Наравне с поэтической стороной, картины природы невольно возбуждают у юного Кулаева и любознательность.

Помните, у юного Кольцова? В одном из стихотворений, где он поет о степном небе:

«Под крылом Господних
И незримых сил,
Идут миллионы
Вековых светил!..»

Но Кулаев не особенно витал в облаках. Его взоры привлекала лишь земля, ее физическое устройство. Однажды он записывал в тетрадке:

«Вдоль степи, на протяжении ста пятидесяти верст, сплошной стеной тянутся почти отвесные скалы, состоящие из различных, но до странности правильных горных пород. Скалы эти поросли величественным горным лесом».

Когда он любовался этими горными породами, у него возникали и практические мысли: «Нет ли тут чего полезного стране и людям: залежей угля, железа, меди или золота?»

Ответы на возникшие вопросы он мог найти у бывалых людей, другой раз и простых, а также в библиотеке отца. Некоторые книги и журналы помогли ему в этом деле.

Кроме покупки и продажи скота, юный Кулаев, по воле отца, знакомился с золотопромышленностью.

В 1876 году, то есть около шестнадцати лет от роду, он начал изучать добычу меди на рудниках Ачинского и Минусинского округов.

Вскорости приступлено было к оборудованию первого в Сибири медноплавильного завода по последнему слову техники и горного дела. Завод был сооружен на горной речке Печища, в восьми верстах от хорошо известного «Божьего озера».

О горной речке Печище ходили легенды, что во времена незапамятные, библейские Тувалкаины построили на ней огромную печь и обжигая руду, выплавляли какой-то металл.

«Стояла печища
в огне пламени,
возле нее
медное идолище
поганище.
И, отступившись
от Бога,
люди ему кланялись!»

О «Божьем озере» было множество сказаний.

Христос, создавший вместе с Отцом Небесным семь озер в святой земле палестинской, шесть озер отдал народу еврейскому, а седьмое — Галилейское, взял себе. На его берегах и подвизался со своими апостолами, простыми рыбаками.

Когда Христос, по Воскресении своем, возносился на небо, Он ангелу повелел зачерпнуть в ладонь святой воды галилейской и лететь к нам на Алтай.

Ангел пролетел над Сибирью, — плеснул несколько капель, и образовалось множество степных и горных Божьих озер.

Одно назвали Крылатым, так как оно было расположено высоко в горах, за Алтын-Кулем, Золотым озером. Над Чулышманским монастырем, сибирским Сен-Готардом, где ангел завершил свой путь, оставшись в обители смиренным иноком.

Недалеко от Божьего озера, по одну сторону завода,

на сотни верст тянулась первобытная тайга, с густыми и лиственными лесами.

По другую, тоже на сотни верст, раскинулась Минусинская степь, славившаяся своими барашками и несметным количеством птицы.

Как огромные чаши блестели зеркальной поверхностью ее озера.

Степных озер прекрасна бирюза.
Они блестят, как голубые очи.
И в ясный день, и в сумрачные ночи —
В тревожный час, когда идет гроза.
И все они — единая слеза,
В них небо видно в радужной оправе,
В кувшинках, ряске, кашке и купаве . . .
Их тишь не тронет даже стрекоза!
Куда глядят озерные глаза?
Что отражают взорами своими?
Кто начертал огнями Божье имя
Над заводью, когда прошла гроза? . .»

На одном из озер был расположен большой курорт, специально оборудованный. Купанье в озере было не только приятно, но и полезно. И могло поспорить с купаньями самых известных мест Европы. Места эти получили вполне заслуженное название Сибирской Швейцарии.

Какая ширь! Какой простор!
Цветы и травы — будто море
И синь озер чарует взор,
Красой своею с небом споря.

Содержание меди в руде, на всех рудниках кулаевского завода, было вполне удовлетворительным. Но условия транспорта оказались крайне неудобными и тяжелыми.

Место добычи металла лежало далеко от рынков

сбыта. Чтобы его доствлять к месту назначения, надо было преодолеть длинный путь. Сначала медь отправлялась в Томск гужем, на крестьянских подводах. Верст за четыреста, проселочными дорогами. Затем почтовой дорогой — трактом.

Кони шли в непролазной грязи. В дорожных ухабах повозки вязли, ломались. Сбруя рвалась.

От Томска медь отправлялась на пароходе по реке Оби, до города Тюмени. Оттуда снова на лошадях до Перьми.

В Перми уже начиналась железная дорога и медь транспортировалась в белокаменную Москву.

В Москве медь продавалась по четырнадцати рублей за пуд. Издержки по перевозу превышали четыре рубля с пуда. Таким образом перевозка съедала треть цены меди.

Иван Васильевич Кулаев, наконец, передал свой завод в аренду известному сибирскому миллионеру Немчанинову, думая, что тот что-нибудь предпримет для облегчения дела.

Сам же перешел к деятельности золотопромышленника.

Первые его прииски были Солгонские, в Ачинской тайге. Затем на реке Тойлы, в двенадцати верстах от главного административного пункта Егорьевска. Район богатый золотом, но особенно каменным углем. Это так называемый Кузнецкий бассейн.

Раньше это был Кузнецкий уезд, Алтайского горного округа, где мой дядя был важным административным лицом. Человек твердый и непреклонный, носивший такой же длинный мундир, как император Александр III, и очень на него похожий. С такой же большой бородой.

Егорьевский прииск раньше принадлежал Кабинету Его Величества и мой дядя всегда говорил:

«В Санк-Петербурге государь император, а я здесь

— его верноподданный. С кем собираетесь иметь дело?»

Но прииск кабинетские чиновники бросили, якобы за непригодностью, и он перешел в ведение Ивана Васильевича.

Кулаев добился того, что прииск давал значительную прибыль.

***

Возле Егорьевска, еще в мое время, ходили странники, калики перехожие, и пели древний духовный стих о святом Егории:

«. . . При царе было, при Федоре.
Жила царица благоверная,
Святая София премудрая.
Породила она три дочери,
Три дочери, да три прекрасные,
Четвертого сына Егория:
По колен ноги в чистом серебре
По локоть руки в красном золоте.
Голова у Егория вся жемчужная,
По всем Егории часты звезды . . .»

Наши старики сказывали, что и сам Егорий ходил по нашим местам странником, с посошком и котомочкой.

Пробирался в скиты дальние, неведомыми тропочками, усыпанными осенним палым листом.

Палый лист походил на свежеотчеканенные золотые копеечки и Егорий видел на них герб московский, а на нем себя — на коне и с копьем.

Дошел Егорий до гор высоких, до лесов дремучих. Дальше не пройти! Тогда возговорил Егорий, возглаголовал:

«. . . Вы леса, леса дремучие,
Расшатитеся, расступитеся!

Построю из вас церкви соборные.
В вас будут Господу служить! ..»

Видит Егорий горы толкучие, горы с горами столкнулися. Егорий им проглаголовал:

«Станьте вы, горы, по-старому,
Как Божия Матерь поставила,
Как стоит святая гора Афонская!»

Вот там, в этих егорьевских местах, с высоты над безднами гор, я слышал, как мой друг, мною покинутый, одинокий старик-алтаец пел песнь:

«Белый лебедь летел,
Утомил крыло.
Белый лебедь
В небе далеком . . .
Ты зачем же
Забросил свое перо,
И оставил меня
Одиноким?»

После Егорьевских приисков Кабинета Его Величества, Иван Васильевич Кудаев начал новые работы, в глубине Алтая, на речке Солдатке, притоке живописной и опоэтизированной реки Кондомы, после чего перешел в Мариинскую тайгу.

Он некоторое время жил в нашем городке Мариинске, считавшемся тогда золотопромышленной столицей Сибири.

Сюда съезжались золотоискатели для деловых встреч. Со всех концов света собирались приисковые специалисты и рабочие. Здесь происходили всевозможные финансовые операции, а также наем рабочих в специальных бюро.

Из нашего городка, иначе называвшегося городом Святой Марии, Иван Васильевич Кулаев выехал сперва на Дальний Восток, а затем в Америку. Покинув

Россию Кулаев не забывал города Приснодевы Марии, Ее сны:

Приснодеве Марии
Снились сны золотые.
Золотистых колосьев
Степные поля.
И кругом тополя
И откосы крутые.
Край родной!
Ленты кос золотые,
Лён волос . . .
Кто дерзнет
Посягнуть на тебя?

Сохранилось преданье, что и Пресвятая Богородица, одинокой странницей, глухими горными тропами, пробиралась к нам на Алтай, в Денежкин Скит, где у ворот была ее икона с прибитой денежкой — динарием кесаря, по времени которого Христа распяли.

Ходила он поплакать у этой иконы о своем Сыне, Христе, нашем Спасителе. И дождаться Светлой Заутрени!

Иван Васильевич верил в Бога. В своих записках он отметил: «Всем я обязан милости Божией!»

В этом кратком очерке я не могу касаться широкой и многообразной деятельности Ивана Васильевича за границей. Основанный им фонд помощи нуждающимся существует и поныне. Этим фондом оказывалась помощь русским детям, учащемуся юношеству, а также ученым, различным деятелям просвещения, труда и искусства, и многим прочим.

Около двухсот тысяч американских долларов он отдал находящимся в бедствии своим соотечественникам.

Больной, ясно понимающий, что жизнь уже уходит, он все же пошел на собрание, к своим чествователям,

праздновавшим его восьмидесятилетие, где сказал: «Я жил по благому закону, указанному нам самим Спасителем, в Его свято́м Евангелии!»

Внуку крепостного крестьянина князя Никиты Юрьевича Трубецкого, Ивану Васильевичу Кулаеву, не всегда сопутствовали удачи.

Но он помнил завет императора Петра. «Благородная упрямика», которую так любил и ценил Великий Петр, помогла Ивану Васильевичу одолеть всяческие «невезенья» и различного рода препятствия. И выйти из всего этого победителем. Основною целью его жизни всегда являлось желание быть полезным людям. Что могу сказать пред его могилой? Наш мариинский золотоискатель был и сам золотым самородком. Да будет ему легка земля, давшая ему крылья к небу!

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

«За посто́й деньги пла́тят,
а посиде́лки да́ром!»
(Сибирская поговорка.)

«Кому, какой сказать укор? Поэту Ивану Саввичу Никитину, обителью являлся постоялый двор.

И даже шумный разговор проезжих мужиков, был для него университетом!»

Как в настоящем театре, через ширму высунулась розовая физиономия «барона» из горьковского «Дна» и продекламировала вышеуказанные слова.

За ширмой стоял большой длинный общий стол, очень напоминавший вагон четвертого класса, в такую же краску окрашенный.

Стол стоял посредине довольно невзрачного но обширного полуподвального помещения и представлял настоящий Вавилон. Он был уставлен всяческими пи-

тиями и яствами проезжих, а также питьём и едой от хозяев.

Гостеприимные и общительные хозяева, живые и веселые, добродушно подшучивали:

— У нас постоялый двор благотворительный! Вот как бывают в городе благотворительные спектакли. Деньги берем только за свет, за тепло, да за беспокойство. А так . . . все остально задаром!

На ночь стол передвигался в угол. В подвал, со двора, приносили солому. На ней рядком укладывались ночлежники. На столе спали особенно привилегированные. Мы, сидевшие за маленьким столиком, с этой стороны ширмы, находились на примитивной кухоньке.

Здесь проезжие наскоро что-нибудь поджаривали или подогревали. Она представляла лишь уголок, где и повернуться было негде.

Большая кухня находилась через коридор, на хозяйской половине, откуда мы ждали третьего сотоварища, хозяйского сынишку Егорку, отстававшего по математике и в данный момент занятого мытьем посуды.

Егорка был в полусонном состоянии, сопел на весь постоялый двор и грохотал посудой.

Рядом стоявший Егоркин отец поторапливал его и наставительно подушучивал:

— Егорка, Егорка!
Задать тебе пóрку,
и за математику,
и за работу
невнимательную!

За маленьким столиком, со мной сидел мой одноклассник, Федя Околёсников, считавшийся в нашей школе вторым Лобачевским.

Но деятельность этого ученого ему не выдалась. Впоследствии он был лишь помощником лесничего, лес-

ным техником, которых в старое время почему-то прозаически называли лесными кондукторами.

Правда, он носил форму и особенно красива была фуражка с серебряными веточками и чиновничьей кокардой.

За это мы называли его лесным маршалом, помощником таёжного мишки-медведя, Михаила Ивановича Таптыгина. Тем более, что его хмурый неуклюжий начальник, лесничий, походил на помещика Собакевича, Николаем Васильевичем Гоголем, в «Мертвых душах» изображенного «медведем средней величины».

Горьковский барон вылез из-за ширмы со сломанным свечным ящиком, на котором было написано «Братья Крестовниковы», стеари́нщики.

Подсел к нам, поставив ящик под себя, как табуре́тку.

Под мышкой у него была прозаическая повесть Никитина «Дневник семинариста», откуда он нам прочел стихотворение, входившее в эту повесть: «Вырыта заступом яма глубокая . . .»

Стихотворение сделало поэта Никитина знамени́тым.

Барон был живой, душевный человек, и по поводу этого нам заметил:

— Что и говорить, вещь глубокая, но . . . безнадёжная! Господа! Так ни жить, ни умирать нельзя! И жизнь, и, даже, смерть, требуют от человека силу воли и темперамент.

Впрочем, поэт Никитин, в «Песне бобыля», высказался:

«Ни кола, ни двора,
Зипун — весь пожи́ток . . .
Эх, живи, не тужи,
Умрёшь — не убыток!»

«Песня бобыля» напоминает кольцовскую «Песню косаря»:

«Раззудись плечо,
размахнись рука . . .
Ты пахни в лицо
ветер с полудня!»

Как земляк поэта Алексея Васильевича Кольцова и тоже, так сказать, сын народа, Никитин, в какой-то степени, был преемником Кольцова.

Однако, он принадлежал уже к другой исторической формации и должен быть поставлен в связь с писателями шестидесятых годов.

Главный интерес представляет его бытовая поэма «Кулак», а также поэма «Портной». В них много сильного и самобытного натурализма, близкого к Помяловскому.

В поэме «Кулак», быть может, проглядывает образ его отца, купца Саввы Евсеевича, разорившегося на свечном деле, от недобросовестности приказчиков и должников. Своеобразный нрав отца и свел поэта в могилу.

У них еще оставался постоялый двор, приходивший также в упадок. Поэту Никитину, уже больному, приходилось целыми сутками, днем и ночью, быть на ногах. Самому встречать, размещать и кормить приезжих Большей частью это были крестьяне и извозчики, Поэт сам подметал двор, делал уборку помещения и мыл посуду.

Всего более мне нравится его «Моление о чаше». Вот, мы не любим семинаристов и вообще всё, что к духовной среде относится.

А разве не семинария создала и воспитала такого замечательного человека, как Никитин? И разве не семинария помогла Никитину дать нам величественную панораму Святой Земли:

«День ясный тихо догорает,
Чист неба купол голубой.
Весь запад в золоте сияет
Над Иудейскою землей.
Спокойно высясь над полями,
Закатом солнца освещен,
Стоит высокий Елеóн
С благоуханными садами.
И полный блеска перед ним,
Народа шумом оживленный,
Лежит святой Ерусалим . . .
К востоку воды Иордана,
С роскошной зеленью долин,
Рисуются в волнах тумана.
А там на западе, далёко,
Лазурных Средиземных волн
Разлив могучий огражден
Песчаным берегом широко! . .»

Он воспевал лазурность Средиземного моря, где есть капля и наших рек, тех же Воронежа, Воронка, Дона, у берегов которых жил поэт.

Тяжко спал мир суровый, в ночь моления о чаше. Веков наследственный порок замкнул его в свои оковы, ложась на него пятном бесславия. Каждый новый век, как язвой, поражал его.

Посланник Бога, в эту пору, решал судьбы мира, предвидя Голхофский крест:

«О, да минует чаша эта,
Мой Отче, Сына Твоего . . .
Но не Моя да будет воля,
Да будет так,
Как хочешь Ты! . .»

Христос в ночь моления о чаше, скорбел о том, что

Он, посланный на землю Отцом Небесным, с проповедью любви и мира, не принимается миром.

Заканчивается ночь моления словами Христа:

«Но если кровь нужна . . .
Чтоб землю с небом примирить,
На крест готов Я восходить!»

И в этот момент звук мечей остроконечных сад Гефсиманский пробудил. И показался отблеск факелов зловещих.

Узами Христа заключается эта потрясающая картина, когда казалось, что спокойно в выси голубой, светил блистали мириады.

Всего замечательнее те стихотворения Никитина, где он сливается с природой. Как бы прикоснувшись к земле, он находит силу, как древний Святогор, чтобы устремляться к небу.

Мы не знаем, какие творческие силы таились в поэте и что нам дал бы этот поэт, если бы смерть, так рано, не унесла бы его в могилу.

«Вот она слышится песнь беззаботная,
Гостья погóста, певунья залетная,
В воздухе синем на воле купается.
Звонкая песнь серебром рассыпается . . .
Тише! . . о жизни покончен вопрос:
Больше не нужно ни песен, ни слез!»

Доживать свой короткий век ему пришлось, покинув постоялый двор, сдав его в чужие руки. Сожалел ли он об этом?

И что такое постоялый двор? Человеческое общежитие, где люди узнают друг друга. Где, как раз, и выявляется сущность человека, в общении с другими.

И люди тогда судят: «Человек ли он!»

Так закончил свои суждения горьковский барон, и, помолчав, добавил:

— А я, вот, на постоялом дворе постоянствую!

После всего сказанного бароном, стал я думать о постоялых дворах. В связи с этим, вспомнилась мне старая народная загадка: «Один говорит полежим, другой говорит постоим, третий говорит полетим!»

Будто и немудрая загадка. Речь шла о дороге, воротах и ветре. И я вижу в прекрасном или непрекрасном далеко, безлюдную заброшенную дорогу, поросшую быльём. Наглухо заколоченные, шаткие, подгнившие ворота. И ветерок, живой, игривый, как бы подмывающий все это куда-то полететь.

Я замечал, что в нашем маленьком, когда-то тихом городке, одни за другими стали раскрываться ворота.

Волна золотоискателей сделала его сибирской золотоисковой столицей. К нам слетались со всего света искатели приключений. Золотая лихорадка унесла их на Дальний Восток.

Затем пошла волна землеискательская, с воплем к переселенческому чиновнику:

— Барин! Землицы бы!

А тот растерянно, недоумевающе разводил руками и, вдруг, неожиданно заявлял:

— А где ее взять?

И лишь тихий, степенный уездный благочинный, отец Иоанн Елеóнский, сокрушенно шептал своим мирянам:

— Места не хватает на нашем стареньком кладбище. Для своих хватило бы. Да, вот, много пришлого элемента умирает. Надо бы прикупить землицы. И опять-таки . . . Где ее взять?

Но люди к нам шли, ехали и, даже, летели. Происходило настоящее великое переселение народов. Пооткрывались постоялые дворы.

По старинке, вывесок у них никаких не было. Вы-

сокая жердь, торчащая через забор на улицу, с привязанным сломанным колесом или пучком сена.

Там, где был пучок, кони сами сворачивали, догадываясь о ночлеге. А что такое постоялый двор?

Заéзжее место, ночлег, приют, стоянка, привал, или отдых на пути!

И, вот, мы и сидели в одном из постоялых дворов нашего городка, где проезжих, прохожих и пролетных встречал не поэт Никитин, а живые и гостеприимные хозяева. И общительный и добродушный горьковский барон, на постоялом дворе постоянствующий.

Когда мы с ним расставались он все же прочел нам из Никитина:

«Рожь стоит по бокам,
Отдаёт поклоны . . .
Эх, присвисни, бобыль!
Слушай лес зеленый! . .
Поживем, да умрем —
Будет голь пригрета:
Над свечным огоньком
При кончине света!»

Последние две строчки барон уже от себя добавил, чтоб дать нам почувствовать что-то апокалипсическое.

Потеплей закутавшись в свою кацавейку, повязав уши пестреньким платочком, он вышел за ворота постоялого двора. Сел у забора на лавку и стал поджидать ночлежников.

Проходящие мальчишки, глядя на его розовые валенки в малиновых крапинках, очень похожие на двух пряничных базарных конишек, — излюбленную сласть детворы, весело пели:

«Эх, вы, кони дорогие . . .
Мчитесь сокола быстрей!

Не теряйте дни златые,
Их немного в жизни сей!»

Но это уже было не из поэзии Никитина. Смеркалось. Показались первые звезды. И заставляли думать о бренности всего земного . . .

Оставался один путь — к звездам, певшим о вечном!

ЗЕМЛЯ САННИКОВА

В жарком чуме тепло человечье,
Утомленный без думы уснул.
Далеко городское увечье,
Городской надоедливый гул.
Утром рано, встряхнувшись оленем,
Целиною пущуся без троп,
По Алдану, молодушке Лене,
Далеко от сибирских Европ.
Есть неведомый остров за кругом,
Заповедная, — бают, — земля.
Недоступная стуже и вьюгам . . .
Курс туда моего корабля!

Для меня и по сие время жива сказочная Земля Санникова. И легендарный Яков Санников, промышленник, землепроходец. В память его всего и осталось, что пролив Санникова, между Ляховскими островами и островом именуемым Земля Бунге.

На берегу пролива находится селение Елисей. И мне вспоминается песенка кадет морского корпуса:

«Обь, Лена, Енисей,
классный сторож Елисей.
Яну видим, Индигирку . . .
Но на карте нашей
дырка».

Промышленник и землепроходец Яков Санников как раз и принадлежал к числу пытливых и неутомимых мореходов, исследователей этих дыр, белых пятен и вообще неведомых земель.

Яков Санников поверил легенде поморских чукчей, эскимосов, эвенков и других народов, о существовании райской земли, где живут их предки. И отправился ее разыскивать.

Писатель Огнёв посвятил этой эпопее целую повесть, которая так и озаглавлена — «Земля Санникова».

Меня несколько огорчало, что в географической энциклопедии есть и земля Гранта, с упоминанием леди Франклин, и земля Гринналла, с упоминанием принцессы Мэри, и земля Свердрупа... но нет земли Якова Санникова!

«Помилуйте, — мне отвечали, — в 1944 году, полет В. Задкова и И. Котова, в район предполагаемого расположения Земли Санникова, экспедицией установил, что такой земли не существует!»

Позже меня утешали, что в 1946—1950 годах произошло открытие в Студеном океане так называемых «Ледяных островов».

Первый из них открыт летчиком И. Котовым в марте 1946 года, в местах северо-восточнее острова Врангеля.

Ледяной остров был длиной тридцать километров, шириной в двадцать пять километров. Площадью более шестисот километров.

Второй остров обнаружен И. П. Мазуруком в апреле 1948 года. Третий Ледяной остров открыт В. М. Перовым, в марте 1950 года, к северо-востоку от острова Геральд.

Остров Геральд открыт давно и принадлежит к группе островов экспедиции лейтенанта Де-Лонга.

Из мужчин, так сказать, и, к тому же русских, в

сих местах украшает карту А. Жохов. С собственным островом, площадью около пятидесяти восьми квадратных километров.

Высота его до ста двадцати трех метров. Состоит он из базальтов. Поверхность его покрыта тундровой растительностью. Открыт в 1914 году гидрографической экспедицией на судах «Вайгач» и «Таймырь».

Правда, в группе Де-Лонга есть еще остров Вилькицкого. Но это уже на отлете, у острова Новая Сибирь, где расположено селение Большое Зимовье.

Остальные наименования островов Де-Лонга женские: Беннетта, Генгриэтта, Жаннетта. Беннетты остров площадью около ста пятидесяти квадратных километров. Покрыт ледниками, спускающимися к морю. Открыт в 1881 году, экспедицией лейтенанта Де-Лонга, трагически погибшего в снегах Сибири. Остров ныне принадлежит якутам.

Генриэтты остров, площадью в двенадцать квадратных километров, состоит из песчанников. Высота его триста пятнадцать метров. Покрыт ледниками.

Остров Жаннетты получил свое наименование в память судна лейтенанта Де-Лонга «Жаннетты» — затертого льдами и сгоревшего.

«. . . Генриэтте
шлет привет,
сам Де-Лонг,
морской кадет.
Обещает к ней
вернуться . . .»

Жаннетты остров площадью более трех квадратных километров. Высота до трехсот пятидесяти одного метра. Состоит из песчанника. Покрыт ледниками и фирновыми полями.

«На острове Жаннетта есть цветы?» —
Спросила девушка с мечтательной улыбкой
Бегут барашки в море зыбко.
А вот и золотая рыбка . . .
Цветком Жаннетты будешь ты!

Где есть любовь, там будут и цветы!
В названьи ласковом Жаннетта
Уже весна, уже немного лета,
Душа как будто бы согрета . . .
Цветком Жаннетты будешь ты!

ОТЪЕЗД В ТУНДРУ

Прощайте, голубые горы,
Степной ковыль, тайги наряд,
Озер крылатых ясны взоры —
Я в тундре очутиться рад:
Там сполоха в ночи горят,
По за Колымой, над старицей,
Чудесной новой, жарой птицей,
В студеном море ищут клад.
Там льдины шумно строят град,
Кремли, хоромы и соборы,
Царю морскому — Беломору
И грозным войском сторожат
Его обширные владенья.
Там зимней ночи привиденья
Укрыли светлый лунный шар,
И трепет звезд, и солнца жар
И все окутали туманом
Над поседевшим океаном.

СИБИРСКИЙ МЕЦЕНАТ А. И. СИБИРЯКОВ

В предисловии к книге «Путешествие в западную Сибирь» доктора О. Финиша и А. Брем, помеченном 1882 годом, значилось:

«Обществом германской северо-полярной экспедиции, впоследствии переименованом в 'Географическое общество' в заседании 10 мая 1876 года, поставлено было отправить экспедицию в область реки Оби и ассигновано было на это предприятие пять тысяч марок.

Для очень тощего общественного сундука, такая сумма составляла, конечно, весьма крупную сумму. Но она оказывалась слишком незначительной для путешествия в Сибирь. Так как по смете, расходы по этому потешествию, на двух человек, вычислены были в восемнадцать тысяч марок — несмотря на то, что оба участника экспедиции, доктор О. Финиш и А. Брем, не получали ни малейшего вознаграждения.

«Для покрытия недостающей суммы, мы расчитывали на сочувствие правительственных и общественных учреждений, и также и на существенную поддержку со стороны всех людей интересующихся успехами естествознания и географии». Так гласил один пункт в издававшихся в то время записках общества.

Не взирая, однако, на такое доверие и надежду на обращение к публике, предприятие все еще можно было считать рискованным.

Даже и после того, как семь членов общества, большею частью из учредителей, представили, в качестве гарантии, сумму в семь тысяч сто марок, все же свои многочисленные воззвания и циркуляры, общество только и получило, что вклад в пять тысяч марок от Королевского Баварского правительства. Добровольных

частных пожертвований поступило от господина Андре в Лейпциге, пять марок.

Господину Торшпекину, доктору медицины в Бремене, экспедиция весьма признательна за пожертвованную им дорожную аптеку и лечебник доктора Рихтера, во многих случаях оказавший нам во время путешествия незаменимые услуги.

Итак, хотя содействие этому интересному предприятию со стороны Германии не оправдало даже самых наискромнейших ожиданий, общество все-таки могло, уже теперь спокойно, проводить в путь свою экспедицию.

А тут, совершенно неожиданно, уже 25 февраля, оно получило вдруг богатейший подарок в двадцать тысяч триста марок. Великодушным жертвователем оказался Александр Михайлович Сибиряков из Иркутска, приносящий такие крупные, щедрые жертвы, не только на благо своей родины, но и в интересах чисто науки вообще.

И, притом, настолько бескорыстно, что как и отечество его, так и ученые общества, могут с гордостью считать его своим почетным гражданином и членом.

«НЕ ВСЕ ЛЬ РАВНО?»

Седов, Русанов, НАНСЕН, самоеды
Не все ль равно, кто научил любить
Родную тундру, долгие беседы
О том, как хорошо в тунгусском чуме жить.

Под волчий вой плету узор созвучий,
По звездам ворожу с шаманом о судьбе
Бреду с ружьем в пургу, в мороз трескучий
Чтоб чем-нибудь помочь тунгусской голытьбе.

С. В. ВОСТРОТИН — СПУТНИК НАНСЕНА

Если покопаетесь в старых беженских газетах, вы найдете приблизительно такую скромную заметку:

«Ницца... Бывший член Государственной Думы, С. В. Востротин, прочтет лекцию на тему: 'Сибирь и северный морской путь'.

Лекция будет иллюстрирована на экране многочисленными картинами. Лектор подробно остановится на участии в открытии и развитии северного морского пути, скончавшегося на днях в городе Ницце, крупного промышленного деятеля А. М. Сибирякова. И отметит его заслуги перед Сибирью на других поприщах его деятельности».

Эту заметку, набрав мелким шрифтом, поместили на задворках газеты. И нужно было быть внимательным и терпеливым, чтобы найти ее. Чем это объяснялось? Не было места!

Так как беженские газеты были заполнены сенсациями мелкой хроники — выступлениями всяких стрекозёлок и вундеркиндов, как событиями всемирного значения, интимными советами некоим мадам, фрау или леди, смотря по газете, экстренно похорошеть, сварить суп без крупы и сшить платье из ничего, предложениями некоего ученого господина немедленно помолодеть посредством бутылки мистического бальзама, отделом крестословиц и путешествий на луну, политическими скандалами и политическим шарлатанством, панихидами и молебнами, с длинным списком лиц, в них участвовавших, часто забывая хоть-что-нибудь сказать о покойнике, или, в лучшем случае, ограничиваясь двумя святыми словами: «Был и нет!» Мол, отшумел чело-

век или отмолчался как-то, и всё. Слава Богу, наконец его сплавили!

Теперь и С. В. Востротин покойник. А замечательным он был не только тем, что был членом Государственной Думы и докладчиком о замечательном Сибирякове. Даже не тем, что был спутником знаменитого полярного исследователя и путешественника, доктора Нансена. И не тем, что написал прекрасную книгу о полярных путешествиях.

ПОЛЯРНЫЙ СЛЕДОПЫТ

Бодрящим холодом повеяли снега
Чем холодней, тем ближе к океану
И тем сильней метёт мечту пурга.

Я к морю проберусь и русским станом стану
Пустыня оживёт под звонким лаем стай
И затрубит труба взывая утром рано.

Мне в тундре жить не нужен даже рай
Я не боюсь полярного тумана
Мне тундра — мать, родимый отчий край.

Всего замечательнее то, что он был колоритной личностью до глубокой старости полной энергии и кипучей деятельности, ярким представителем той необыкновенной и ушедшей на всегда Сибири, сыном которой он являлся.

Посещая его лекции в Париже, я недоумевал, почему всегда только двенадцать-двадцать слушателей? И, можно сказать, роковых, одних и тех же? Где же остальная беженская масса? Ей некогда! В те годы русский Париж «кипел, как большой переспиртованный и взъерошенный муравейник». В каждом квартале был русский ресторан и одна или две éписерийки с «выпить

и закусить» на ходу, и так, с церемониями и разговорчиками, которые получше лекций.

Шутка ли сказать, одних русских капиталистов, в двадцатых годах насчитывалось около двадцати тысяч человек — цифра равняющаяся населению хорошего города.

Правда, не все капиталисты были с капиталами. Но у некоторых бывали значительные суммы на мелкие расходы. Они почему-то стремились, мчались, летели в это «разливное море», и вязли как мухи в меду.

И никому в голову не приходило искать на задворках газеты какую-то маленькую заметку о Востротине, Сибирякове, докторе Нансене и полярных путешествиях.

А найдя ее, или случайно узнав от знакомых, не догадывались послать лектору Востротину два франка входной платы, если сами на лекцию не изволили или не могли явиться. Этим они помогли бы престарелому, больному и томящемуся в жалкой комнатушке. С миру по нитке, голому рубашка!

В. В. РАДЛОВ

(Исследователь)

На обширных пространствах императорской России наименее исследованным был Туркестанский край.

КАКОЙ-ТО РОК

(Из книги «Пески поют»)

Мне ветер кажется родным.
Он вечно бродит по пустыням
Как хорошо обнявшись с ним,
Стремиться к далям светло-синим.

Пески дорогою считать
Да звезды числить во вселенной
И восторгаясь размышлять:
Кто движет ризою нетленной?

И смысл глубокий находить
В огнях комет, пронзивших небо,
В полете жить и светлым быть,
Какой бы рок над нами не был!

Вследствие этого, как писал Зеленин, Географическое общество озаботилось снарядить, в 1868—1869 годах, экспедицию этнографа и знатока тюркской и монгольской филологии В. В. Радлова, который в то время занимал скромное место в барнаульской городской школе. Но впоследствии он сделался европейской знаменитостью и членом Императорской Академии наук.

Радлов, в небольшом масштабе, начал свои ученые исследования в районе города Ташкента. Но, благодаря содействию начальника только что образовавшегося перед тем Туркестанского генерал-губернаторства, К. П. фон Кауфмана, вскоре ему представился случай чрезвычайно расширить область своих экскурсий.

Генерал губернатор, по окончании военных действий снарядил особую экспедицию для обозрения передовой линии русских владений.

И Радлов, присоединившись к этой экспедиции, получил возможность обследовать почти всю восточную половину Бухарского ханства. В его труде «Описание Зарявтанской долины» (1869), приведена масса этнографических материалов, подробные сведения о гидрографии и топографии этой области.

А также сведения о промышленности, о приемах ирригации, о наречиях народов и так далее.

В мае 1869 года, В. В. Радлов предпринял вторую экспедицию в области Джунгарской степи, имея в ви-

ду главным образом исследование Илийской долины и в частности двух даурских племен Сибо и Солонов, лингвистической стороны.

Оказалось, что язык сибо совершенно тождественнен с древним манчьжурским языком, на котором говорили древние завоеватели Китая.

Среди этих племен Радлов собрал множество ценных материалов касательно религиозных воззрений и социальных отношений.

Открыл много древних рукописей, собрал сведения о прежнем и современном положении Илийской долины.

Кроме того, он посетил озеро Иссык-Куль и занимался этнографическим и лингвинистическим исследованиями среди Дико-каменных Киргизов Чуйской долины.

Злокачественная лихорадка, которой он заразился в одной из нездоровых приозерных местностей, прекратила его интересные труды. И экспедиция была закончена ранее назначенного срока.

Я не мог проследить дальнейшую деятельность В. В. Радлова, но обращаясь к книге доктора О. Финша, спутника всемирно известного ученого А. Брэма, «Путешествие в Западную Сибирь», помеченную 1882 годом, я читаю: «. . . Мы оставались в Казани только три дня . . . доктор Брэм отправился на обед к статскому советнику, доктору Эльснеру, а я воспользовался приглашением профессора Радлова.

Профессор Радлов, проживавший много лет в городе Барнауле и неоднократно путешествоваший с учеными целями по Алтаю, в Туркестан и так далее, был для нас особенно дорог своим основательным знанием Алтая».

АЛТАЙ

Вершины светлые как звезды
И к небу руд подземных ток,
Орлов заоблачные гнезда,
В оскале бездн — живой цветок!

Пойду в тайгу послушать гусли,
Скитов раскольничий завет,
И здесь Христос . . . Китай ли, Русь ли!
Ты — край родной, тебе привет!

Обыкновенно путешественники бывают настолько заваливаемыми разными, часто противоречивыми один другому, советами, что, в конце концов, становишься невольно в тупик, не зная которым из них отдать предпочтение.

Но профессор Радлов, как в том можно было убедиться, говорил не по слухам, а на основании собственного опыта. И я считаю долгом здесь же заметить, что справедливость его советов подтвердилась не только впоследствии, но уже в самой Казани . . .

Под руководством профессора Радлова, который был здесь инспектором татарских школ и являлся основательным знатоком татарского

Серп, как месяц
На плечо положишь.
Всходит месяц
В поле над межой.
Ясный месяц,
Ты сияешь в небе
Словно серп
На плече дорогой!

и киргизского,

Белый лебедь летит,
Утомляя крыло,
Белый лебедь под небом далеким.
Ты уйдешь и уронишь меня
Как перо,
И оставишь меня одиноким.

равно как и вообще тюрских языков, мы посетили татарскую часть города, где он ввел в дом знаменитого муллы,

. . . Он мне напомнил, что приспел
Молитвы час и час покоя
И что Аллах нам повелел
Оставить временно земное.
И обратиться на восток,
Откуда солнце завтра глянет,
А если милостив пророк
И новый день для нас настанет.

который показал нам одну мечеть, и медресэ, то есть, магометанское высшиее училище . . .»

ЕРШОВ
ТВОРЕЦ ЕДИНСТВЕННОЙ СКАЗКИ

Вступление

Ив. Новгород-Северский в Омском училище имени Императора Александра III, учился с внуком автора сказки «Конек-Горбунок».

Памяти творца *единственой сказки,* Петру Ершову, — к столетию кончины, 18. 8. 1969 года, посвящается этот очерк и сибирская присказка из сказки об Иване Царевиче и пере Жар-птицы (из книги «Сказки Сибирские» Ив. Новгород-Северского).

Зачинается сказка — елова подмазка, от сивки, от бурки, от вещей каурки.

У глухоморья сибирского, у стана богатырского... на льду киянском, у озера канского стоит зелена листвяжина — золоты маковки. Стоит небо подпирает. На ей в зиму-зимску сполохи играют. По этой полесине ходит кот-баюн говорун. Песни поет — сон берет. Голосом потянет и мертвый встанет. Это не сказка, а еще присказка. Сказка будет завтра после обеда, поевши мягкого хлеба. А еще поедим пирога, да потянем быка за рога.

Памяти
Петра Петровича
ЕРШОВА
к 100-летию его кончины
18. 8. 1869 г.

Много лет тому назад, в тридцатых годах прошлого века, рассказывает В. В. Быков в петербургском университете, который ютился тогда близ Ямской, на углу Кабинетской и Фуражной (ныне Звенигородской) улиц, появился молодой человек, воспитанник Тобольской гимназии. Ему было неполных 16 лет. Среднего роста, худощавый, бледноватый с темными волосами, слегка закрученными на широком лбу и висках, он как-то сразу выделялся. Брови дугой подымались над небольшими голубыми глазами, в которых светилась мысль и фантазия. Голова, на довольно широких плечах, всегда как-то наклонялась вперед, в особенности когда он всматривался, глядя исподлобья, в толпу студенческой молодежи, от которой сторонился, удивляя ее своей загадочностью, намеренностью держать себя особняком. В этом юном студенте невольно чувствовалась сибирская девственная природа, таившая в себе несомненные драгоценности, рано или поздно долженствовавшие об-

наружиться. Будучи на философско-юридическом факультете, он был только усердным, но ничем не выдавался. Впрочем и Вальтер Скотт, как ученик, ничего не обещал.

Мудренного сказочника сибиряка звали Петром Петровичем Ершовым. Не рвался он к блеску, был поразительно скромным, но ему суждено было заблестеть яркой звездочкой в нашей литературе, как творцу «Конька-Горбунка», единственной сказки, приобревшей громадную известность. Жива и свежа эта сказка до сих пор, легко заучивается в отрывках детьми, но имя ее творца, умершего давно, как будто забыто, словно случайное, не связанное с его талантливым, беспорно замечательным произведением:

П. ЕРШОВ. «КОНЕК-ГОРБУНОК»

Русская сказка

Часть I

Начинает сказка сказываться.

За горами за лесами,
За широкими морями,
Против неба на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын — и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу,
Да возили в град-столицу . . .
. . . .

Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить . . .
. . . .
Ночь настала, месяц всходит
Поле все Иван обходит . . .
. . . .
И минуту улуча
К кобылице подбегает . . .
. . . .
И пригнул к ней на хребет
Только задом наперед! . . .
. . . .
«Ну Иван, она сказала,
Коль умел ты усидеть
Так тебе мной и владеть» . . .
. . . .
‹Двух рожу тебе коней,
Да таких, каких поныне;
Не бывало и в помине,
Да еще рожу конька,
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами,
Да с аршинными ушами . . . .

Минула сотая годовщина рождения Ершова, и благодарность к творцу «Конька-Горбунка» обязывает вспомнить о нем, прелестная сказка которого, кстати сказать, существует более восьмидесяти лет. За это время сказка выдержала более двадцати изданий! Ее успех породил ряд спекулятивных подражаний и самым бесцеремонных подделок. Большая часть из них, кроме заглавия, не имеет ничего общего со сказкой Ершова. Известный балетмейстер Сен-Леон на ее сюжет написал

интересный балет, долгое время державшийся на сцене и имевший шумный успех.

«Конек-Горбунок» вошел в лучшие наши хрестоматии. Житель Угорской Руси, учитель в Пеште, издававший там педагогическую газету на русском языке, П. Феерчак, перевел сказку на одно из славянских наречий и свидетельствует, что на его родине «Конек-Горбунок» очень известен в оригинале. Русины, и взрослые и дети, всегда интересовались сказкой Ершова, как созданием чисто народным, а потому и чрезвычайно близким народу, прямо из уст которого сказка и взята писателем еще в детстве в Сибири, слышавшим ее там, в передаче рассказчиков, она произвела на него впечатление, крепко засела в его голове и, когда он был еще студентом, навела его на мысль обработать ее сюжет, привести в стройное целое и избрать для этого стихотворную форму.

По выражению одного из близких друзей Ершова, он создал свою сказку, так сказать, «на руках доброй няни», которая забавляла его в детстве, передавая ему все, что она слышала от своих родных и сибирских сказочников. Потом, позднее, когда Ершов учился в Тобольской гимназии, он очень любил общество стариков, внимательно прислушиваясь к их рассказам о поверьях, обычаях, особенностях народной жизни. Больше всего занимал его сказочный элемент. Когда он готовил свои уроки, которые давались ему шутя, он или припевал что-нибудь, или занимал товарищей шутливыми повествованиями, и непременно в сказочном роде.

Задуманной им сказкой «Конек-Горбунок», Ершов был весь поглощен будучи студентом и, написав первую часть, показал ее профессору русской словесности, известному другу Пушкина, Петру Александровичу Плетневу, который и прочел ее на лекции. «Мы были, — рассказывает товарищ Ершова и его биограф, Ярослав-

цев, — заинтересованы, обрадованы неожиданным явлением, хотя, казалось, нельзя было не ожидать от загадочного Ершова чего-то необыкновенного». Вскоре эта первая часть «Конька-Горбунка» появилась в «Библиотеке для чтения» (1834 г., т. 3). Спустя несколько времени сказка была издана вся целиком отдельной книжкой и возбудила огромный интерес в публике. Она читалась нарасхват и, по прошествии сорока лет, многие вспоминали, с какой жадностью читали они сказку эту и на школьных скамейках и повсюду, как стихи из нее легко заучивались наизусть.

В год появления «Конька-Горбунка» барон Брамбеус (Ос. Ив Сенковский) писал: «'Бибилиотека для чтения' считает своим долгом встретить с должными почестями и принять на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как 'Конек-Горбунок' г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете: читатели сами оценять его достоинства и силу языка, любезную простоту и обилие удачных картин, между которыми заранее поименуем одну — описание конного рынка:

Пред глазами конный ряд
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой
Хвост струится золотой!
И алмазные копыта
Крупным жемчугом обиты . . .
. . . .
Царь Ивану говорит:
«Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу

В нашу царскую светлицу,
То — клянуся бородой —
Ты расплатишься со мной

. . . .

На правеж .. в решетку ... на кол! ..»

. . . .

Что Иванушка, не весел,
Что головушку повесил?
Говорит ему конек ...

. . . .

Пал Иван коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, Конек! — сказал .—
Что мне делать, Горбунок?»
Говорит ему Конек:
«Велика беда, не скрою,
Но могу помочь я горю ...

Другие критики приветствовали сказку, «обличающую необыкновенный талант в молодом авторе» и находили, что она принадлежит к хорошим произведениям нашей словесности и предвещает еще гораздо больше в будущем, что в сказке много истинно смешных сцен, вроде земского суда у рыбы. Характеристика городничего, или Ерша Ершовича, который не в силах пройти мимо карася, чтобы не подраться с ним.

Он повествует, оправдывая свою драку:

Распроклятый тот карась
Поносил меня вчерась.
При честном при всем собраньи,
Басурманской разной бранью ...

Только Белинскому, не особенно давно перед тем выступившему в литературе, сказка Ершова не понравилась, и он написал рецензию о ней под влиянием Н. В. Станкевича, полемизировавшего с Я. М. Неверо-

вым по поводу «Конька-Горбунка». Неверов, друг Станкевича, с особенным увлечением, подобно большинству публики, относился к сказке; Станкевич почему-то смотрел на нее скептически. Белинский и был на стороне станкевичевского литературного кружка. Чуждые мнений кружковщины Пушкин и Жуковский с большой похвалой относились к этой сказке и ее творцу. Пушкин, прочитав «Конька-Горбунка», сказал Ершову: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить!» Великий поэт в то же время изъявил намерение содействовать Ершову в издании этой сказки с иллюстрациями и выпустить ее в свет по возможно дешевой цене в огромном количестве экземпляров для возможно большего распространения ее в России, особенно в народе. Смерть Пушкина помешала выполнению этого намерения. Да и не один Пушкин вместе с автором «Светланы» поняли и оценили прекрасное создание Ершова. Плетнев, Грот, кн. В. Ф. Одоевский, сами блестящие сказочники, и другие видные литераторы того времени радушно встретили сказку, нашли ее увлекательной, вполне доступной народному пониманию.

И в самом деле, прекрасное воспроизведение народного вымысла, так удавшееся Ершову, имеет большие достоинства, начиная от удивительной картинности описаний и превосходных характеристик каждого действующего лица и кончая настоящим русским юмором, удивительным образным языком, так ясно и реально выражающим нашу народную речь. Подобным языком до тех пор не писались сказки в родной литературе. Да и небезыдейно это произведение истинно русского своеобразного ума, служащее не только забавой, развлечением. Простые дети природы, первые слагатели «Конька-Горбунка», быть может помимо воли своей, вложили в нее идею, вполне нравственную, которая легла в основу творения Ершова. Простодушное терпение дол-

жно быть вознаграждено, и оно всамом деле увенчивается величайшим возмездием в здешнем мире, тогда как от необузданных желаний человек только гибнет, хотя бы он и стоял на самой высокой степени земного величия. Иванушка-дурачок слывет дурачком только на языке людей: не подходя под понятие людей обыкновенных, он не ведет такую жизнь, какую ведут они, служит людям с честью, по совести, хотя и одолевают его немощи людские; много он претерпевает от людей и ради них решается на невозможное. Добрые всемогущие силы оказывают Иванушке, как своему собрату, существенную помощь — и «дурачок» достигает своей цели. Таков смысл, быть может несколько наивный, этой сказки, такова ее мораль.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился . . .
. . . .

Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян, . . .
. . . .

Посмотри-ка Горбунок,
Чай небесная светлица? . . .
«Это терем Царь-Девицы,
Нашей будущей царицы!» —
Горбунок ему кричит: . . .
. . . .

Наш конек бежит по киту,
По костям стучит копытом:
Чудо-юдо рыба кит
Громким голосом кричит . . .
«Чем вам други услужить? . . .
. . . .

Говорит ему Иван:
«Перстень, знаешь Царь-Девицы
Лучше перстень нам достань . . .
.   .   .   .
Глядь, в пруде под камышом
Ерш дерется с карасем . . .
.   .   .   .
Ну а нам какое дело . . .
Ерш кричит дельфинам смело . . .
.   .   .   .
Тут Иван одежду снял . . .
А царевна молода
Завернулася в фату . . .
Твоего ради талана
Признаем царем Ивана
Здравствуй Царь наш со Царицей
Распрекрасной Царь-Девицей

Я там был, мед, вино и пиво пил . . .
По усам хоть и бежало
В рот ни капли не попало.

Ершов сразу сделал себе имя своей сказкой; его выступление было блестяще, но тут же он и исчез. И, как Богданович, написавший свою «Душеньку», как Грибоедов, создавший только одну бессмертную комедию «Горе от ума», так Ершов весь вылился в единственной сказке своей. Богданович и Грибоедов печатали еще довольно много, но остаются авторами только двух вещей. И Ершов напечатал целый ряд стихотворений, проникнутых искренним чувством, поэтичностью, а также несколько прозаических произведений, но во всех этих произведениях талант его не отразился в такой степени, как в «Коньке-Горбунке», который навсегда останется жить в истории нашей литературы.

Сила судьбы, многие обстоятельства жизни Ершова были виною в том, что он преждевременно уклонился от служения музам . . .

«Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано!» — мог, после создания своей сказки, воскликнуть вместе с поэтом творец «Конька-Горбунка». Замышляет он еще одно большое произведение. «Я думаю, — говорил он друзьям, — из всех русских сказок составить одну, вроде поэмы, где главным героем будет Иван Царевич». Он стал работать над задуманной вещью и бросил. Служба в Сибири, много неприятностей сопряженных с ней, расхолодили его. «Уклонение от прекрасных целей своих, — говорил единственный биограф творца 'Конька-Горбунка', — Ершов оплакивал горькими слезами». Как бы то ни было, он остается автором замечательной сказки, и его имя не должно быть забыто.

Ершов умер далеко не старым человеком. Он родился в 1815 году в Ишимском округе Тобольской губернии, в селении Безруково, был сыном чиновника редкой честности. Воспитание получил в Тобольской гимназии, где считался лучшим учеником. По окончании курса в Петербургском университете, Ершов года через два получил место учителя в своей alma-mater, а спустя много лет был назначен директором училищ Тобольской губернии. В 1865 году он вышел в отставку, несмотря на большое семейство и значительное содержание. «Повод, — говорит его биограф, — был, по-видимому, невыносимый для благородного, страдальческого сердца и болезненной уже комплекции Ершова . . . Люди и тут не пощадили поэта» . . . Петр Ершов скончался 18 августа 1869 года и погребен на тобольском кладбище, за валом, или, как местные жители говорят, «на завальи». По отзывам всех знавших Ершова, это был человек удиви-

тельной душевной красоты, черты которой сквозят и в его сказке . . .

Да всякая сказка быль. Было и быльем поросло!

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОТАНИН

21 октября 1915 года вся Сибирь праздновала восьмидесятилетие нашего знаменитого исследователя серединной Азии, Григория Николаевича Потанина.

В лице Григория Николаевича замечательно счастливо соединились отважный путешественник, исследования которого занимают почетное место в мировой науке и вдумчивый ученый с трудами по этнографии, фольклору, социологии, языковедению и разным отраслям географической науки.

Талантливый публицист и выдающийся общественный деятель, которому Сибирь обязана более чем кому-либо из других сибирских деятелей, не исключая покойного сибирского патриота Н. М. Ядринцева, признававшего себя учеником Потанина.

Ученый не поглотил в Потанине общественного деятеля, а общественный деятель и публицист не умалили значения его научных трудов.

Страсть к путешествию обнаружилась у Григория Николаевича еще в омском кадетском корпусе и была унаследована им от отца, казачьего офицера. По окончании кадетского корпуса, в 1852 году, Григорий Николаевич совершил экспедицию в Заилийский край.

Алтай с его красотами, с цветущими долинами и знаменитыми белками, определил направление будущего географа.

А вот и сам великий хан —
Алтай суровый и могучий.

Неугомонный дикий стон
Нас полонил тайгой певучей.

Поднявшаяся после Крымской кампании волна русской общественности «новый дух времени», знакомство с Чокан-Ватхановым и с омской интеллигенцией, собиравшейся у Е. И. Капустиной, родной сестры известного химика Д. И. Менделеева, побудили и оформили в Григорие Николаевиче стремление к общественной деятельности, дали ответы на многие вопросы, поставленные жизнью перед ним, молодым офицером.

Научная карьера и общественная деятельность требовали знаний. Григорий Николаевич, благодаря хлопотам некоторых лиц, выходит в отставку и попадает в Петербург, где поступает в университет на естественное отделение.

В Петербурге он организовал «Сибирский кружок», из-за которого он, почему-то, попал в ссылку. Там он женился на А. В. Лаврской, которая была впоследствии его ценной помощницей во всех путешествиях.

Григорий Николаевич постоянно колебался между карьерой географа-натуралиста и публициста. «Центральная Азия» Гумбольта, риттеровская «Азия», с описаниями Хухунора, порог Тянь-Шаня, увлекли Григория Николаевича на путь исследования центральной Азии.

Напрасно его убеждали оставить увлечение «какой-то центральной Азией», Потанин принял предложение К. В. Струве уехать в экспедицию на озеро Зайсан.

В 1857 году, Григорию Николаевичу были возвращены права и он поселился в Петербурге, где по поручению Географического общества выполнил капитальный труд «Дополнение» к третьему тому риттеровской «Азии», значительно превысивший по объему основной труд Риттера.

С 1876 года начались путешествия Потаниных в Мон-

голию, Китай и Тибет, давшие богатейший материал по всем отраслям географической науки и вылившийся в обширных многотомных исследованиях, изданных Географическим обществом.

Последняя экспедиция Григория Николаевича, в 1892 году, в которой приняли участие Обручев и Березовский, закончилась печально. Во время пути скончалась А. В. Потанина. Тело ее было привезено в Кяхту, где и похоронено. Григорий Николаевич вернулся в Россию, предоставив своим спутникам закончить экспедицию уже без него.

В промежутках между экспедициями и обработкой материалов Григорий Николаевич отдавался служению Сибири и общественным делам. Он вместе с Ядринцевым положил основание газете «Восточное Обозрение», основал и вызвал к жизни целый ряд сибирских обществ, будил сибирскую общественную жизнь, основал музеи и библиотеки, объединил учащуюся молодежь, организовал экспедиции для исследования Сибири и так далее.

Но главная общественная заслуга Григория Николаевича заключалась в том, что он отстаивал интересы Сибири и вместе с другими сибиряками поставил Сибирь в фокус общественного внимания, доказывая, что Россия по отношению к Сибири была мачехой.

Он будил самодеятельность сибиряков, звал их на работу для Сибири, боролся за просвещение и реформы родной окраины. Сибирское крестьянство, народы Сибири, рабытая и обойденная окраина, нашли в нем, после Ядринцева наиболее яркого и последовательного защитника и ходатая за их интересы. Действительного «застою», заступника Сибири, как прозвали Григория Николаевича еще в пятидесятых-шестидесятых годах сибирские казаки.

После кончины первой своей жены, Григорий Нико-

лаевич почти безвыездно жил в Сибири — Иркутске, Красноярске, а последнее время в Томске, принимая близкое участие во всех делах сибирских отделов, географических и других местных обществах, работая в местных газетах.

Он принимал деятельное участие в Организации Общества изучения Сибири, сибирских Высших женских курсов, томского Литературно-художественного кружка и прочее.

Проявляя усиленную общественную деятельность, являясь центром томской интеллигенции, работая для Сибири, Григорий Николаевич не оставлял и своих научных работ, особенно по фольклору и обработке богатейших материалов прежних своих экспедиций.

Каждое лето Григорий Николаевич совершал научные экспедиции на Алтай.

С каждым утесом сроднился
В каждом ущелье мой дом.
Я ль не чемчулом родился —
Горным алтайским орлом.

Помнится малым ребенком
Взором орлиным глядел
В глетчере чистом и звонком
Бурным ключом закипел.

Мне ль по земле волочиться
Смелым и вольным крылом,
К солнцу не сметь воротиться
В небе парить голубом?

Откуда вывозит много материалов, особенно по фольклору. Он обрабатывает и, кажется, уже закончил замечательный труд о происхождении европейского эпоса, сказаний и легенд европейских народов. Несмотря

на преклонный возраст Григорий Николаевич проявляет изумительную энергию.

Имя Потанина окружено исключительным обаянием и любовью. Это и понятно. Григорий Николаевич обладал редкой душевной чистотой и красотой, сумел до глубокой старости сохранить живую душу, верность идеалам юности и непоколебимую веру в светлое будущее.

Он никогда не замыкался в тогу кабинетного ученого. В основе всей его жизни, научной, общественной и политической деятельности лежали два стимула: человек и человечность. Благодаря чему вся многогранная, исключительно плодотворная жизнь дорогого всем Григория Николаевича проникнута широкой гуманностью, обвеянна особенным светом и согрета любовью. От общения с такими людьми, каким был и есть Григорий Николаевич, становится легче жить на свете.

Вот почему сибиряки, помимо выдающихся заслуг Григория Николаевича на поприще науки и общественности, ценят и любят его, как человека в самом высоком значении этого слова.

В популярно-научном журнале «Природа и люди», за 1915 год вы найдете приблизительно такой рассказ, написанный И. И. Поповым.

Журнал «Природа и люди» был увлекательный журнал всяких отпрытий, путешествий, приключений и изобретений. Журнал естествознания, географии, техники и прочего, которым мы, старики, в юности своей, очень увлекались.

Помню, я начитался о каких-то жителях луны, великанах, названных селенитами. В лунные ночи, неслышно, таинственно, спускаются эти селениты с луны и ходят по земле длинными, плоскими, гигантскими, прозрачными тенями, прижимаясь к лесам, косогорам,

деревенькам и городам. И чего-то ищут, любопытствуют.

Видит один селенит, что сидит поздно мальчик уткнувшись носом в ученическую тетрадку. И не может решить заданную в школе задачку. И в смущении и нерешительности рисует реку, облачки, елочки и над ними луну.

Селенит увидел это и лезет к мальчику через оконную форточку, каким-то длинным необыкновенным лунным полотнищем. Взял у мальчика из рук карандаш и чертит какие-то лунные знаки. И задачка готова, и мальчику не сидеть в школьном карцере. Мальчик же вырос и стал поэтом луны.

Что предосудительного находили в сибирских потанинских кружках, я недоумеваю. Я имел соприкосновение с некоторыми из них. Там был один завет: служить своей сибирской окраине и, вообще, нашей общей российской родине.

В томской газете «Сибирская Жизнь», издававшейся купцом Макушкиным «сибирским Сытиным», как его называли сибиряки, печатались чрезвычайно содержательные и интересные воспоминания Григория Николаевича.

Готовил и я свой, можно сказать, обвинительный доклад, по вопросам близко касавшимся сердца Григория Николаевича, по вопросам землетрясения. Но, увы, кто-то стянул этот материал и подписав свою или чужую фамилию, тиснул наскоро в газете «Сибирская Жизнь».

За это мне тоже и попало, так как это я незаконно использовал секретную казенную переписку и тайные архивы губернского и переселенческого управлений и других учреждений. И я чуть не попал в места не столь отдаленные. Однако, все ограничилось, так ска-

зать, «почетной ссылкой» на Дальний Восток, коей удостаивались лишь крупные сановники.

Я же был тогда лишь секретарем не совсем статского советника.

За тундрой дальней грезят паруса,
Простор морей и далей светлооких,
Страны волшебной дивные леса
И чумы звездные у рек широких.

Я стан раскину вешнею порой
В краю озер и елей бирюзовых,
У глетчера с хрустальною водой,
На тучных пастбищах, больших и новых.

Со мной олени с золотым руном
И оленушек стадо златорогих . . .
Мне их стеречь пока сполох огнем,
Не озарит нам новые дороги!

П. П. СЕМЕНОВ

Первый исследователь Тянь-Шаня

Я у подножья Тенгри-Хана

Я у подножья Тенгри-Хана . . .
Неутомимый вечный страж
Взирает грозно из тумана
Как янычар, как делибаш.
С могучим воинством Тянь-Шаня, —
Не счесть его богатырей,
Как волн в Индийском океане, —
Он затаился у дверей
Руси великой и могучей
В стальной броне . . . А лесом пик
Он не пропустит даже тучи,
Отчизне преданный старик.

Первым из русских исследователей, проникнувших в Тянь-Шань, был П. П. Семенов. После основательной научной подготовки к путешествию, для чего он ездил на полгода за границу, в 1856 году он отправился в свою экспедицию.

Ранней весной он прибыл в г. Омск, совершил экскурсию в западном склоне Алтая, и затем, через Семипалатинск, Копал и возникший в то время г. Верный, достиг берегов Иссык-Куля.

С высокого мыса, вдающегося в это озеро, перед П. П. Семеновым впервые предстал весь тянь-шанский хребет во всем своем величии, увенчанный множеством снежных вершин. Это было в августе 1856 года. Семенов оказался первым европейским ученым исследователем, увидевшим всю необозримую цепь тянь-шанского хребта.

Кручи над кручами в смелом стремленьи,
Выше и выше, до снежных вершин,
Тянутся к небу их мощные звенья,
Прах попирая бескрылых долин . . .

Ровно через год, в августе 1857 года, его смелый и доблестный европейский коллега прославится своими путешествиями и открытиями: Адольф Шлагинтвейт нашел себе трагическую смерть за дерзость проникнуть в Тянь-Шань с южной стороны Кашгара.

Из Кашгара он увидел издали южный склон тянь-шанского хребта,

Стеною горы

Стеною горы — до небес
И в звезды упирался лес.
Сиял в ущельи месяц молодой
Бредя оленем над водой —

Как будто крадучись в ночи;
Рог золотой поил ручьи . . .

В горах и я, как лунный луч,
Смотрел на землю
Из-за тучь . . .

но здесь же смелый и доблестный путешественник нашел себе трагическую смерть, так как казнен был временным правителем Кашгарского царства, Валиханом, и русский исследователь Н. А. Северцов, проникнувший к Тянь-Шаню с запада, закончил его также при тяжелых и трагических обстоятельствах: разбитый, несмотря на мужественную защиту, и взятый в плен хищными коканцами, он был притащен на аркане к подножию западных гор Тянь-Шаня, именно к Кара-Тау.

Как видно, путешествие в притянь-шанских странах в то время было далеко не безопасно . . .

Так писал о нем Зеленин.

В горных стремнинах

Тесно ли в горных стремнинах?
Смелым родился орлом —
Буду и в норах звериных
Биться упрямым крылом!

Горы учили стремиться:
«Ввысь!» — их мечта и предел.

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ ХАБАРОВ

Имя Иерофей по-гречески означает — посвященный Богу!

«Священномученику Иерофею,
Посвященному Богу,
Епископу Афинскому,

Молюсь с тревогой
О мученике Хабаровском!»

И надо добавить, что об Ерофее Павловиче!

Пишут в новой экспедиции, что пассажиры дальневосточного поезда, проезжая Забайкалье, невольно обращают внимание на название станции — Ерофей Павлович.

Не все знают, чьим именем назвали эту станцию. Но сведущий человек пояснит, что станция названа именем отважного землепроходца и исследователя Ерофея Павловича Хабарова.

Ерофей Хабаров принадлежал к числу тех замечательных людей кои свыше трехсот лет тому назад в короткий срок прошли от Уральского хребта до берегов Великого океана. Присоединив сибирские земли к Русскому государству.

Сведений о времени рождения, детстве и молодости Хабарова не сохранилось. Известно только, что родом он был из Устюга.

Великий Устюг всегда славился замечательными людьми. Теперь это город Вологодской области. Железнодорожная станция в шестидесяти верстах от города Котласа. Пристань на реке Сухоте. В четырех километрах от слияния с рекой Юг. Здесь образуется Северная Двина, великая река, впадающая в Белое море. Хотя до Ледовитого океана отсюда было далеко, но Великий Устюг всегда являлся славным гнездом землепроходцев.

В городе соществует судостроительно-судоремонтный завод. Пять средних специальных учебных заведений и краеведческий музей.

Великий Устюг одно из старинных селений на севере нашей родины, упоминается в летописях двенадцатого столетия. Еще до нашествия хана Батыя.

До сего времени сохранились ценные архитектурные

памятники, Вознесенская церковь, остатки монастырей Троицко-Гледитского, Михайло-Архангельского и иных незабвенных и святых мест. Как пели библейские евреи на реках вавилонских: «Забуду ли тебя, Иерусалиме! . .»

Но пели устюжане и другое:

«Троица Глядитская
в даль глядится.
Зовет устюжан
в Студеный океан.
За ним страны незнаваемые,
крины райские!»

В этом звучало давнее искание русской души, чего-то неведомого и непостижимого . . . Взыскание Града Вышнего, что есть Царство Божие!

«Архангел Устюжный . . .
Сухона и Юга . . .
И странник недужный,
и холод и вьюга . . .
Поет и ликует
седая Двина:
В обитель покоя
дорога одна! . .

Хабаров занимался варкой соли в городе Сольвычегорске, неподалеку от Котласа. Теперь это большая пристань на Северной Двине. При впадении в нее реки Вычегды. Железнодорожный узел. Основная ремонтная база северного речного пароходства. Жителей почти сорок тысяч человек.

«Какая мне выгода сидеть в Вычегде?, — думал в старое время Ерофей Павлович. Кругом глушь, дичь, безморье. Дела, видимо, у него шли плохо. Пошел Хабаров искать счастья на новых, неведомых сибирских землях.

Поселившись вначале на реке Енисее, он вскоре перебрался на реку Лену, где занимался собашным промыслом.

Найдя соляные ключи, Хабаров снова стал вываривать соль. Она была нужна всем и дело шло успешно.

Впервые в этом крае Хабаров занялся и земледелием. Но вскоре якутский воевода отобрал у него соляную варницу, все пашни и три тысячи пудов хлеба в казну.

Самого Хабарова, неизвестно по какой причине, посадили в якутскую тюрьму.

Выйдя из тюрьмы разоренным, Хабаров заинтересовался рассказами об «Амурской землице», об ее неслыханных богатствах. Он решил попытать счастья в этой новой, недавно открытой, стране, куда до Василия Даниловича Пояркова и его спутников никто из русских не ходил.

В 1649 году, на четвертый год царствования тишайшего царя Алексея Михайловича Романова, в городе Якутске сменили воеводу. Хабаров предложил новому воеводе Францбекову послать его с отрядом казаков на реку Амур. Для «прииску новых землиц».

Охотников разделить с Хабаровым трудности походной жизни оказалось немного. Казаки были испуганы рассказами спутников Пояркова о встреченных ими опасностях. Хабарову с трудом удалось набрать отряд в восемьдесят человек.

Францбеков, воевода, поручил ему не только собирать ясак, — государству дань, — с тамошних жителей, но также описать их житье-бытье. И составить «чертежи» — карты местности, с обозначением природных условий.

Из Якутска плыл Хабаров по реке Лене. До устья ее большого притока Олекмы. Где теперь якуты поют «Пробуждение тайги».

«Друг, слушай!
День в Олекме искупался . . .
Берегись . . .
Солнце прыгнуло,
как рысь.
С неба,
на большую ель.
Лед на Лене
звучно треснул,
лошадь
навострила уши . . .
Ты послушай,
что за вести
с Бодайбо?»

Надо сказать, что город Бодайбо столица ленского приискового района. Но якуты в песнях поют, что не надо дремать по юртам: «Ну-ка! Отпирай амбар! Новый трактор осмотри!»

Медленно продвигались хабаровские лодки вверх по быстрой и порожистой Олекме. Порой люди совсем выбивались из сил. Хабаров записал: «В порогах снасти рвало. Корму и руль ломало. Людей ушибало . . .»

Уже в верхнем течении реки Амура казаки увидели селения местных жителей — дауров. Это были хорошо укрепленные города. Окруженные высокими деревянными стенами. С башнями и глубокими рвами. Но они были покинуты жителями, испугавшимися приближения казаков.

В одном из таких городов хабаровский отряд остановился на отдых. Однажды часовые доложили Ерофею Павловичу, что к городу приближаются всадники.

Это был местный даурский князь Лавкай. Он спросил через переводчика, что за люди заняли их город. Хабаров ответил, что они пришли в Даурию торговать. В то же время предложил князю платить дань, обещая

за это покровительство русского царя. Лавкай дал уклончивый ответ и уехал.

Не решаясь идти в глубь страны с незначительными силами, Хабаров отправился в Иркутск за подкреплением. С восторгом он рассказывал о богатствах Даурской земли. О плодородии ее полей. О лесах и пушных зверях, о рыбных богатствах реки Амура. «Эта земля против всей Сибири украшена и изобильна!» — сказывал Ерофей Павлович.

Донесения о походе Хабарова шли в Якутск и в Москву. Правительство решило послать на Амур воеводу с тремя тысячами стрельцов.

Царский чиновник Сибирского Приказа, то есть министерства по делам Сибири, при встрече с Ерофеем Павловичем заявил, что ему поручено «Всю Даурскую землю доглядеть». Иными словами, Хабаров устранялся от всяких дел.

Его обвиняли в том, что «он государственному делу» не радел, а радел своим нажиткам, шубам собольим».

Царский чиновник Сибирского Приказа забрал себе имущество Ерофея Павловича, арестовал его. И повез в Москву, обвиняя в государственной измене.

Стали разбирать дело. В поданной царю челобитной Хабаров просил за свою службу, за то, что он «кровь свою проливал и раны терпел и четыре земли привел под государеву руку», вернуть отобранное у него имущество.

Просьба Хабарова была удовлетворена. Кроме того, за заслуги перед русским государством он получил награду. Царского чиновника наказали за превышение власти и незаконное присвоение имущества.

Как вдальнейшем сложилась судьба Ерофея Павловича — точно не известно.

Замечательны были стремления Ерофея Павловича по хозяйственному устроению Приамурского края. Его

попытки организовать земледелие. Для чего он помышлял создать сеть крестьянских поселений.

В начале нынешнего столетия, являясь одним из продолжателей идеи Ерофея Павловича, я проезжал через реку Амазар и вскоре увидел на каком-то приземистом, как мне показалось, просмоленном здании огромную белую вывеску, на коей крупными черными чуть не саженными буквами, было отчеканено «Ерофей Павлович».

Я и глазам своим не верил. Всполошил всех пассажиров, восклицая: «Бегу знакомиться с Ерофеем Павловичем!» Некоторые пассажиры даже выразили недовольство по случаю моих волнений, в особенности дамы. «Что за шумные заявления? Какой такой Ерофей Павлович? Мы здесь при чем?»

Но я уже мчался на станцию. Без фуражки, в одной рубашке. Как есть!..

Станционное здание, не в пример большинству станций сибирских железных дорог, находилось далеко. К нему вела широкая и длинная деревянная платформа, тоже просмоленная. Потом надо было подниматься по широкой деревянной лестнице, чуть не в два этажа. И значительно отступя, на широкой площадке, упираясь в горы, почти уходя в них, находилась уже станция.

Подходя к ней я оглянулся. Внизу, как в бездне, понуро стоял наш скорый поезд. Лениво попыхивал. За ним темной хмурой стеной стоял хвойный лес, закрывая дали. Над станцией тоже ничего не виделось. Клочок бледно-бирюзового неба, с бесформенными, расплывавшимися, облачками-барашками.

Вплотную горы, похожие на рыжих верблюдов. Но они освещались где-то затаившимся заходящим солнцем, казались золотыми. И в этом была красота!

Я вошел через гостеприимно открытые двери внутрь

здания. Передо мной был буфетный прилавок. Такой же как в теперешних ресторанах Парижа.

Я знал, что маленькая рюмочка водки — с наперсточек — и малюсенькая килька, погоды не делают. Но они помогают начать разговор.

Я обратился к самой буфетчице, пожилой даме, с шутливыми словами: «Скажите, пожалуйста... Как мне можно увидеть Ерофея Павловича?»

Она так же шутя ответила: «Пожалуйста, вот он, собственной персоной!»

И указала на соседнюю комнату. Тут только я увидел, что за стеклянной дверью, на стене, висит портрет Ерофея Павловича, сего замечательного путешественника.

Несмотря на то, что он олицетворял собой русское семнадцатое столетие, вид у него был современно-европейский. Глядя на него скажете: купец, предприниматель... быть може интеллигент, ученый. Такое он производил впечатление.

Пока я разговаривал и размышлял поезд ушел, так как он стоял всего пять минут. Пришлось звонить на соседнюю станцию, чтоб сняли мои вещи. Забрали мою тужурку, в коей были документы и деньги. А мне на станции Ерофея Павловича надо было ждать следующего поезда.

Пока суть да дело, погулял я вокруг Ерофея Павловича. Пустынно, какой-то замкнутый мирок. И ни живой души!

Вернулся на станцию и говорю буфетчице: «Есть хочется!» Время ужина, а у меня в кармане лишь коекакая мелочь! Как быть?» — «Не унывайте! Садитесь под Ерофея Павловича. В его счет и запишем. Хлебец он сам здесь сеял, его хлебцем и кормимся».

Поужинал я, попрощался с радушными хозяевами. Скоро пришел и поезд.

За Ерофеем Павловичем была станция Сковородино, на отлете Соловьевск-Город. Дальше город Цесаревича Алексея и амурская станица Василия Даниловича Пояркова, куда мне надо было приехать.

Вот сижу теперь в Париже. Любуюсь маршрутом Ерофея Павловича Хабарова: Якутский острог, Олекминский острог, Албазин — крепость славная своей геройской защитой и Албазинской Божией Матерью.

СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ

(Албазинская икона)

9 марта — празднование иконы Божией Матери «Слово плоть бысть» — Албазинской — принесенной в Пекин после сдачи русской крепости Албазин.

«Слово плоть бысть — Албазинцы»
Доказали это в деле:
Воевали, Стрелы пели,
И дивили — поражали,
Албазинцы же сражались . . .
Их не тронули китайцы,
Победив не одолели.
Под покровом Мати-Девы
В полону они молились!
Пред иконой Албазинской
И шептали:
«Слово плоть бысть» . . .
Ты была у нас оплотом,
Нерушимою стеною.
Мы и здесь, как за стеной:
Не темница здесь —
Обитель.

Рассказал толмач в столицах
О великом русском чуде;
Услыхали мандарины,
Все узнал и император,
А солдаты раньше знали,
Произнес:
«Не троньте храбрых,
Это чудо — Божье чудо,
Это чудо — человекам».
Богдыхан был не Иуда.
Пойте, люди, век за веком!

Которую чтят и славят и по сие время даже китайцы. Айгун-город... Страна Даурия, причинившая столько бед и хлопот Ерофею Павловичу. Три клина: байкальская и нерчинская Даурия Поднебесной империи. Ворота на Дальний Востов и к Великому океану.

Хочется знать, что деется-творится там. Рука невольно тянется к другой энциклопедии, где тоже черным по белому, как и на старой станционной вывеске Ерофея Павловича написано:

«Ерофей Павлович поселок городского типа в Сковоринском районе Амурской области. На реке Урке, приток Амура. Жителей почти десять тысяч. Предприятия обслуживающие железнодорожный транспорт. Возник в 1909 году. В связи с строительством железных дорог. Назван в честь землепроходца Е. П. Хабарова».

Мне сия краткая энциклопедическая заметка показалась поэмой!

Урка урчит...
Что это значит?
Да и сам Ерофей Павлович
озадачен!

Есть еще и большой город наименованный Хабаровском, в его же честь. Там у меня тоже были неприятно-

сти. И одно время мне казалось, что Ерофей Павлович мне мстит за наше «министерское землеустройство». А, может, нам с ним кто-нибудь мстит? Стал вопить в пространство . . .

И неожиданно получаю депешу от Ерофея Павловича: «Шлем привет! Все в добром!»

О замечательном сибиряке Ерофее Павловиче Хабарове закончу стихотворением — похвалой Божией Матери:

Благодатное небо

«Светоносное облако, в котором
Гсподь всех нисшел . . .»

Радуйся облако светлое:
Свет воссиял от тебя!
Радуйся, Матерь Всесветная
Мир и в грехах возлюбя!
Радуйся, Неба Владычица!
В сонме великих святых
Образ твой знаменем высится
В звездных огнях золотых!

ГЛАВА V

ТАЕЖНЫЕ РАССКАЗЫ

ВЕКША

«Медведя бояться,
от белки бежать».
(Сибирская поговорка.)

Пришел к нам на «чайный разговор» мужик Масей, хмурый лесной человек. Как только переступил порог, зарычал:

— Вот, верчусь, как белка в колесе! Тайга горит! Хрисьяне паникой воспользовались, лес воруют.

Не всюду за ними на коне ускачешь. Норовят в ложбинках да по крутым горкам порубки совершать.

Народ в страхе: не иначе, как Божье попущение. Даже преисподняя земли на нас ополчилась!

Сел за стол, чайку попить. Сразу же пригоршню сахара за пазуху — детишкам. Не раздевался, некогда — опять в объезд ехать. Порубщиков ловить, да браконьеров всяких.

Лишь форменную фуражку скинул, ударил ею о деревянную лавку. Истово на образа перекрестился, говорит:

— Спас-то у вас строгий! Вы бы подобрей поискали. Люди сказывают, в Москве Белокаменной «Спас на Курьих Ножках» прозывается. Так и в книгах прописано!

Я огляделся кругом и вижу: Спас у нас хоть и строгий, но добрый. Все терпит: и пыль на божничке.

Зимой его снегом заметает из окна. В его углу иней. Угол дырявый, а починить не удосужимся.

Старушка Павловна, ссыльная поповна, мне с печки взывает:

— Арифметики читаешь! А нет смекалки вычислить да прикинуть, чем и как угол законопатить!

Я ей отвечаю в оправдание:

— Во-первых, у меня инструмента нет и подходящего материала. А во-вторых, события такие, что с ног сбиваешься. Руки опускаются! . .

Действительно, мы были в страхе. Наш маленький тихий городок Святой Марии переживал целое нашествие. Медведи, волки и иное бесчисленное зверьё, даже олени, снялись в тайге с насиженных мест. Убегая от пожаров, сбились к городу.

Пастух, цыган Рома, жил в избушке на отлете. У него медведь корову задрал. В нашем огороде зайцы всю капусту поели. До гола обгрызли тополя. Белки лазили по крышам домов. Высматривали, где раскрытые окна. Забравшись, устраивали в домах грабеж.

Ускакал Масей с винтовкой и нагайкой. Только его и видели! А я думаю . . . Как это белки в колесе вертятся? Этот вопрос меня озадачивал.

Потянулся к словарю. Как ни искал — нет белки. Нашел лишь слово «белек». Сказано, что это тюлений щенок, сосунок. До отлучки от матери так называется.

На нем белесоватая шерсть. Подрастая он темнеет. Тот же белек на Белом море, у поморов, зовут и морским зайцем. Он идет в краску. На воротники и опушки тулупов. Во многих книгах, даже научных, назван «лесным зверем».

Вот еще белуха, ошибочно названная белугой — морское живородящее животное. Однородное с черно.-морской свинкой. Белух не едят. Промыляют для ворвани, как и кита.

Старушка Павловна мне говорит:

— Брось эти дебри естествознания! Надо белку искать в священных книгах. Там ее векшей именуют. А в «Слове о полку Игореве» — мыслью. Про нее сказано, что она в город забегает к войне!

Слышал я еще раньше от наших охотников: «Пермяки ее зовут урмой. А крестьян Никольского уезда, Владимирской губернии, кличут векшеедами!»

Вдруг хлопнула форточка. В избу прыгнула белка. Испугавшись, она забралась на полки с книгами. Оттуда смотрела на нас неудомевающе.

Сестра Маруся ей ласково, сочувственно говорит:

— Ты сама в ловушку попала! Вот теперь и живи у нас. Мы тебе, из солдатского сада, будем приносить орешки. У нас жить хорошо, тихо, спокойно! На воле тебя охотники убьют!

Послушалась белка. Стала жить у нас. Но так как она оказалась безобразница страшная, пришлось ее в тайгу отнести.

Все же за орешками она к нам приходила. И не вертелась в колесе, а была в кругу своих постоянных беличьих забот. Как мы в кругу забот человеческих.

Роднила нас с ней взаимная любовь, и радовались мы великой радостью. Потому что искали примирения со всей Божьей тварью. Как и великие наши подвижники и святые. Но далеко нам было до них!

Что и сказывать — поговорка о белке в колесе очень меткая. Ее мужик Масей говорил. В колесе жизни все живут по-разному. Другой раз и под колесо попадают.

Белке-векше не орешки,
Дорог был простой привет.
Да и нам казалось легше,
там, где сердца в людях нет!

Еще в конце прошлого столетия, люди ученые писали об истреблении лесов. Приводили народную пого-

ворку, уже давно существовавшую: «Где куница жила, там ныне и белки не найдешь!»

Тайга истреблялась и на наших глазах. Мы сами были, вольными или невольными, участниками этого истребления.

ЧЕРЕМУХА

«. . . Мудрая сказка,
что черемховая вязка . . .
Сбита-сколочена,
по-веки прочная!»

Какой-то поэт когда-то писал:

«Куст черемухи душистой
украшает звездный сад.
В этом воздухе огнистом,
все случайно, все искристо . . .
Речи мед, а сердце — яд!»

Поэт, вероятно, пытался изобразить какую-то экзотику.

У нас в Сибири, по крайней мере в нашей местности, черемуха растет не кустами. Редко представляет собой одинокое деревцо. В большинстве случаев это купа небольших деревьев. Островок на лужайке, под шатрами могучих таежных деревьев-великанов.

В Оренбургской казачьей области была народная примета: «Коль урожай на ягоду черемуху, так и на рожь урожай!»

А у пензяков была другая примета: «Когда цветет черемуха, тогда улов на рыбу леща!»

И порой шутили: «У нас тьма леща! А рыбак отощал. И если верить слуху — от черемухова духа! У него лещ в кушанье! А ему одному есть скучно!»

Мне непонятно нытье пензяков. Может быть у них

унылый лещ, унылая черемуха. Или были унылыми сами рыбаки.

Но в наших местах, когда шел лещ и цвела черемуха, все в природе преображалось. Даже в студеном море-кияне, тяжелая, но характером живая, рыба белуха, как ее называли «млекопитающая», начинает лещиться. То есть вскидываться.

В это время и голуби начинают «лещиться». Бьют крыльями на одном месте. Хлопают, плещутся звонко. И пчела бунтует. Пасечники запирают ее в ульях, когда цветет черемуха.

От черемухи она пьянеет. Меду не берет. Возвращаясь в ульи — бушует. Букет черемухи, оставленный в комнате на ночь, утром пробуждает человека бодрым. В какой-то радостной тревоге!

Хочется, как птицам только что закончившим весенний ликующе-тревожный перелет, куда-то лететь.

Вот, в такое утро, я однажды и вышел погулять. Неожиданно очутившись под черемухой. Как будто в ней был какой-то магнит. Вдыхал аромат ее цветов. Даже попробовал ее лепестки. По вкусу они напоминали горький миндаль.

Ягоду черемуху можно есть и сырую. Мы ее ели даже с косточками. Заготовляя впрок, черемуху сушат. Везут на мельницу и мелят из нее муку.

Заваренная кипятком черемуховая мука дает вкусную и питательную кашу. Черемуховую кашу также кладут начинкой в пирожки. Пекут из нее ватрушки, по-сибирски называвшиеся шаньгами.

И часто за окошком, зимой, печальные голоса странников и странниц взывали: «Дайте хоть панюжку черемушную нам бездомным!»

На эти голоса приветливо раскрывались двери сибирских лачуг и палат. Люди помогали сирым и бездомным, чем Бог послал.

ЩЕГЛЫ

Соловей свищет. Жаворонок заливается. Камышевик кричит. Чижик чирикает. Ласточка и щеголь — щебечут. Щебетанье: звуки тихие, чистые.

И нам, детям, добрые старички и старушки, ласково говорили: «Щебечи, пока тебе щебечется!»

Но слово «щегол» происходит не от слова «щебетать». От слова «щеголять». Но в каком-то либо исключающем щегла, либо в ласковом смысле.

Вообще же щегольство у нас не одобрялось. Нельзя было щеголять лошадьми, каретами, иконами. Картинами плохих или великих художников. В особенности не поощрялось щегольство нарядами.

О людях, носивших фрак, говорили:

«У него хвост веретеном. Дома-то, в деревне, у него люди босиком щеголяют!»

То же самое о щеголихах:

«Перещеголяла всех! Недолго щеголяла, прощеголяла всё!

И о простой деревенской щеголихе пелось в старинной песне, довольно укоризненно:

«Была Дунюшка щепетлива, Авдотьюшка щеголь-лива!»

Не без щегольства был и щёголь-гоголь, сизый селезень. Был щегольком и петушок, золотой гребешок.

Расщеголявшийся павлин распускал свой хвост радужным колесом. Обозлившийся индюк, когда его дразнили уличные мальчишки, что-то бормотал, как китайский император. Чертил своими крыльями по земле, — распуская пыль.

Впрочем, уличные мальчишки дразнили и меня:

«Буль, буль, буль,
индюк сопливый!»

У меня был нос не такой, как у них

Слыл щегольком и хмелёк, вившийся у нас по частоколам и плетням. Сам ходивший в рогожке, а нас водил нагишём. Но о щегле-щегольке, и старые и малые, согласно и ласково говорили:

«Щеголь Ивашка,
что ни год, то рубашка.
Поёт — заливается,
и всем нравится!»

Страстные любители птиц, тульские щеглятники, давали певчим щеглам клички шестериков, осьмериков — по числу белых крапин на хвосте.

А самих туляков шутливые люди дразнили, как бездельников:

«Щегол щаглуе на дубочку,
прощеголял свою сорочку!»

Однажды, в начале зимы, всюду лежал первый мягкий пушистый снег, еще не слежавшийся. И не наступали морозы. К нам пришел соседский мальчик Стёпка. Стал настойчиво приставать. Купи, да купи щегла. Цена была небольшая — пятачок!

Я упорно отказывался. Объясняя ему, что у меня есть пять новеньких звонких копеечек, но я их берегу для нищих и странников. На это Стёпка ответил: если я куплю щегла, он, Стёпка, научит меня ловить щеглов. Тогда я смогу нищим и странникам подавать за окошко, как милостыньку, и звонкую копеечку и певчую птичку. Это получится, как он выразился, «очень живописно».

Птичку он мне продал в долг. Клеточку, в которой она сидела, велел вернуть, когда я для птички смастерю свою клетку. Для этого он мне принес досочку, пру-

тиков и шильце. Сказал, если погода будет для щеглов подходящая, завтра утром пойдет их ловить.

На другой день погода выдалась хоть и не солнечная, но бодрая. Сплошь, над глубокими пушистыми снегами, облегали теплым пологом пушистые же облака.

Все сияло мягким успокаивающим светом. Идти было недалеко. За солдатский сад и казармы нашего гарнизона. По пути к древней сибирской деревеньке Баим, построившейся на пепелище татарского становища.

Мы со Стёпкой свернули с московского тракта на проселочную дорогу в Баим. Меня сразу же поразили необычайные звуки. Они казались хором каких-то невидимых маленьких ангелочков, сопровождаемые тончайшим оркестром. Звуки были почти неуловимы.

С правой стороны дороги, к острогу, серебряной стеной стоял березник, осинник и тальник. Весь заснеженный. Деревца были похожи на юных причастниц в белых платьицах. Или на молодых невест в белом уборе.

С левой стороны, где затаились солдатские казармы, высились могучие кедры, ели и лиственницы. Под ними растилалась широкая пустырь, простиравшаяся до реки Кии. За ней виднелись Арчика́сские горы.

Летом эта местность представляли топь. Ее постепенно, из года в год, засыпали городским мусором. Но в этот день она казалась волшебной равниной. Кучи мусора представляли маленькие серебряные горы. Среди них, и на них, сказочным леском стояли необычайные деревья. С экзотическими фруктами и цветами. И цветики, в упоительном пении, перелетали с ветки на ветку.

Это оказался репейник. Весь в репьях и усыпанный щеглами.

Стёпка поставил клетку-ловушку и мы пошли домой. Чтобы через некоторое время вернуться и посмо-

треть: не попалась ли птичка. И уже заранее Стёпка восторженно пел:

«Ах попалась птичка, стой!
Не уйдёшь из сети . . .
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете!»

А я ему тоненьким девичьим голоском отвечал:

«Ох, зачем, зачем я вам,
Миленькие дети?
Отпустите погулять,
Развяжите сети!»

Когда мы снова вышли на московский тракт, Стёпка, по нашей маленькой улочке, пошел домой. Я свернул к острогу. Отдал привратнику свои новенькие звонкие копеечки. Сказал ему:

«Передайте, пожалуйста, заключенным! Это из щеглиных денег!»

Но щеглов со Стёпкой я не стал ловить.

БУРУНДУКИ

«Куку; Куку!» —
Бурундуку
поёт бездомная
кукушка.

Бурундук . . . Конечно, это не русское слово, а монгольское или якутское. Но еще в прошлом столетии в словаре было отмечено:

«Бурундук сибирский зверек, земляная белка. Есть еще растения: бурая греча дикая, растущая кропильцем и буркýн, желтый и красный, луговой, которые тоже бурундуком именуются». Впрочем, эти названия, быть может, и русские, от слова бурый, кофейного цвета, коричневатый. Вот, бурая лиса, у ней по темно-бу-

рой голубоватой шерсти белесоватая ость... в крапинках!

Бывают бурые коровы, ласково кличут их бурёнушками и в «Родном Слове» Ушинского, в школьной книге для чтения, было даже чье-то стихотворение:

«Уж как я
мою бурёнушку люблю!»

И один наш деревенский парень, поехавший в город на заработки и там запутавшийся, писал слезное письмо «дорогим и обожаемым родителям: «Продайте бурую корову, пришлите денег на дорогу!»

Есть конская масть, между рыжей и вороно́й. В сказке «Конек-Горбунок» моего земляка Ершова, с внуком которого я учился в школе, сивка-бурка — вещая кау́рка мастью буро-кау́рый.

Была бурая пшеница, темная, крупная зерном, в размол дававшая много отрубей, очень полезных домашними животными, «живности» хрисьянской.

Бывал-живал у нас в Сибири бур-серяк, сермяжный мужик и когда это ему говорили, не обижался, бодро-весело гуторил:

«Ни сиво, ни буро,
ни с ума, ни с дуру,
пашем, сеем, жнём,
и хлебец жуём —
бедными не гнушаемся!»

Водились в тайге и пернатые, в перьях бурой же окраски, в особенности куропатки темно-песочного цвета, с коричневыми полосками, очень похожие на бурундука, тоже поминутно шнырявшие под ногами.

Насколько привлекательны были куропатки, милые лесные и луговые курочки, с живым, пытливым и очаровательным взглядом, настолько был неказист бурундук, маленький неповоротливый пентюх.

На первый взгляд он даже казался безобразным и ни в какой степени не походил на белку. Ни видом, ни образом жизни, ничем. Скорее его можно было сравнить с маленькой обезьянкой мартышкой, которых у нас по городам и селам демонстрировали итальянские бродячие шарманщики.

Куцое туловище с черненьким хвостиком, как у маленьких лешачат, несоразмерно большая голова, с широкой пастью, утыканной довольно большими и острыми зубами и объемистые защечные мешки.

Когда в них ничего не было, они болтались как пустое брюшко кенгуренка, а когда были набиты чем-то, важно отдувались, как баки господина уездного капитан исправника или, будто бы, у бурундука опухоль похожая на флюс. От их тяжести он часто терял равновесие и перекувыркивался через голову.

Давным-давно, когда наш городок Святой Марии казался небольшой ветхой деревенькой, мы жили в тайге, на болоте, одни-одинешеньки. Кругом ни жилья, ни живой души. Лишь невдалеке высился острог, большими зубцами вопиявший к небу, шумел могучими кедрами солдатский сад, возле него сиял крест кладбищенской церкви, красовалась березовая роща кладбищенского псаломщика. И, вдалеке, горел на солнце шпиц нашего собора, каменными стенами и постройками напоминавшего санкт-петербургскую Петропавловскую крепость.

Потом от нашей избушки стали проводить маленькую улочку на железнодорожную станцию, застраивали ее небольшими домиками. Рубить деревья, выкорчевывать пни и коренья было некогда. Так и ездили по пням и колдобинам, проторив немудрую проезжую дорогу, упиравшуюся в большую зеленую лужайку, своего рода Марсово поле, где был и воинский склад.

Целыми днями жалобно скрипели старые немазан-

ные деревенские телеги, готовые на каждом завороте развалиться. Везли солдатам бурую пшеницу, темную, крупную зерном, а также караваи ржаного хлеба и козий сыр с гор Арчика́сских.

Везли душистое сено, в котором торчали дудки тысячелистников, острый пыре́й и кропильца дикой гречи, бурундучьей. У самой этой дороги, под гнилым пнем, была нора, в которой жил бурундук. Он поселился еще тогда, когда кругом были раскинуты дикие заросли, и возникшая дорога представляла для него неожиданный и неприятный сюрприз. Но он смирился с ним и насиженного места своего не покидал, как домовитый обитатель тайги.

Мы, дети, иногда приходили к нему в гости и осторожно стучали палочкой в пёнушек. Клали возле норки кедровых орешков и говорили:

«Стук, стук!
Кто тут?
А он отвечал:
'Бурундук!'»

и осторожно выглядывая из норки, нам добавлял:

«Живу под пёнышком, любуюсь солнышком!»

«Приходи к нам жить в избушку!»

«Не хочу, там душно! Перебирайтесь вы ко мне на горку, выройте себе норку. Только не живите, как барсук. Он день и ночь спит, жир копит. А надо о чем-нибудь заботиться!»

После такого разговора, мы сразу же вспоминали, что скоро осенние переэкзаменовки и немедленно отправлялись заниматься.

Однажды пробирался бурундук к себе домой, обремененный поклажей. Мы загородили сеткой его норку и его поймали. Вот тут-то и выяснилось, что ходил бурундук в солдатский сад, за полверсты, по кедровые орешки. Ими и были наполнены его защечные мешоч-

ки. Один соседский мальчик убил такого бурундучка и я тогда написал маленькое стихотворение:

Бурундук сидит на ветке,
за щекой орехов фунт.
Самострел у Стёпки меткий, —
Рраз! И хлопнуло о грунт.
Что же делать? А орешки?
Кто орешки донесет,
в малый домик, где полéшки,
где малыш слепой живет?

Нашему бурундуку тоже не посчастливилось. Ехала телега, передним колесом сбила пёнушек. Бурундук выскочил из норки и попал под заднее колесо. Мы его нашли раздавленным.

Говорят, что американцы не любят рассказы с печальным концом. Как рассматривать мой рассказ? Если маленький сибирский зверек отдал Богу свою душу, он все же героически погиб на своем посту, неизменно держась родных мест и не уступая их нам, пришельцам.

И там, где жил бурундучёк,
Горит лампадки огонёк . . .
Скорбит тайга моя родная
о прежней жизни вспоминая!

ПЁСТРАЯ КУРОЧКА

«И у курицы сердце есть!»
(Сибирская поговорка.)

О курах чего не говорят. И даже людям, другой раз, скажут: «Что стоишь, как мокрая курица?»

А, вот, у нас дома, такая мокрая курица, которую мы Пеструшкой звали, утят вывела. Наша бабушка незаметно ей утиных яиц подложила.

Утята, можно сказать, только что из яйца, мигом к воде. Они ее носом чуют. Благо болото близко. Перековыляли наш огородик, а за дырявым плетнем сразу же болотное царство. С лягушечьим царем Квакуном Двунадесятым, как у поэта Жуковского.

Помимо лягушек и пернатые. Водяные курочки, лысухи, их у нас лешачьими курицами называют.

Болотный коростель водился. Также птичка-пого́ныш. Весной, из теплых стран, пешком к нам пробиравшаяся. Утята в нашем дырявом плетне нашли лазейки. Уже на болоте, а Пеструшка пролезть не может: тык, мык, — просунет голову в одну, в другую дырку. Дальше нельзя — тесно. Догадалась через плетень перелететь.

Бродит Пеструшка по бережку болота. Квохчет предостерегающе, своих детей упрекает. Неприлично, мол, курочкиным деткам в вонючем болоте хлюпаться.

Но видя их живые глазки-бисеринки, их восторг, сама подобрела. Стала улыбчивой. Даже осмелилась в болото ступить. Нашла какую-то букашку. Тычет в нее клювом, хочет детей кормить, зовет их. Они носами отмахиваются. Ешь сама. Мы не цыплята. Любим живую добычу сами добывать.

Носами звонко полощатся. Хотят со дна что-то достать. Ныряют, лишь хвостики торчат-виляют. Как у маленьких веселых болотных чертиков.

Шло время. Утята выросли. Нарядными селезнями щёголями-гоголями сделались. Скромно-кокетливыми уточками в ситцевых платьицах.

У нас уткам давали иной корм, чем курам — утиный Мешонку в корытцах. Пеструшка с курами клюнет двачтри зернышка и к утиной кормушке, к детям. Они почтительно уступали ей место. Но вот, однажды, Пеструшка исчезла.

«Где она запропала?» — плачет наша бабушка. Ищет пёструю курочку . . . — Нету!

Наконец с огорода, из мелкого кустарника, с торжественным квохтанием является Пеструшка. С нею настоящее ее потомство — цыплята. Крадучись их вывела чтобы загладить свою вину, к нам на крыльцо, в избу, за угощением. С куриного своего детства привыкла она у нас угощаться. Вот, и детей своих привела. На всех нас смотрела добродушно. Объясняла нам что-то ласковое. На бабушку смотрела укоризненно. Как на обманщицу, заставившую ее воспитывать детей не ее роду-племени, неспокойных утяток.

Бабушка каялась. Говорила в свое оправдание:

«У коровы теля то же дитя! И утятки детки! Вот, радуйся теперь и цыпляткам!»

Летом, иной раз, из-за реки, с гор Арчикасских, налетали на наш тихий городок коршуны.

Реяли они в синем небе. Высоко, гордо кружились по-орлиному. Выглядывали себе добычу. Глаз у них был зоркий. Достать было где. В нашем городке каждый двор — птичник.

Камнем упал один коршун на наш дворик. Бросился к Пеструшкиным детям. Ураганом налетела на коршуна пестрая курочка. Перья у нее иглами встопорщились на всем ее тщедушном тельце.

Крылья, как два колючих щита. По земле скрежещут, подымая пыль и мелкую золу. В этом пылевом облаке прижала она коршуна в угол. В ямку, заменявшую ей куриное гнездо. Коршун запутался, как в капкане. Спасся он, взвившись по-над забором. Перемахнул забор домика, плетень огорода и исчез за болотом.

Видно было, как с кладбищенской церкви вспорхнули испуганные голуби. Тогда мне вспомнилась поговорка: «На своем пепелище и курица бьет!»

Вскоре Пеструшка, пораненная коршуном, или от

пережитых волнений, занемогла. Одной ненастной ночью она свалилась с курошести. Ее, быть может уже бездыханную, съели свиньи. Ранним утром мы нашли только крылышки.

На этот раз, к удивлению нашему, бабушка даже не плакала. Лишь тихо сказала:

— Бог ей дал новые крылышки. Взял ее к себе на небо. В свои сады райские. Она этого заслужила. Так как была доброй и самоотверженной матерью.

Нам, людям, тоже нелегко: детей воспитать, не цыпляток пересчитать!

Чтобы рассеять грусть и как-то оживить нас, бабушка показала на Большую Медведицу, угасавшую в лучах восходящего солнца. Уже уходящую на покой. И сказала:

— Вон, где наша пестрая курочка! Курочка — пташка о семи рубашках!

МАЛИНОВКА

(Неутешное горе)

Сидим с сестрой Марусей за лампой-коптилкой, учим уроки.

Прочли в хрестоматии строчку: «Стрелок в лесу малиновку убил . . .»

Маруся от ужаса даже со скамейки спрыгнула, говорит с негодованием:

— Как можно было убить такую милую птичку? Гадкий стрелок. Лучше убил бы филина. Он по ночам ухает и гогочет, как леший, всех пугает. Наконец, пошел бы на волков. Они не дают проходу ни конному, ни пешему. Бешеный волк нашего пастуха, цыгана Рому, искусал.

Забегают в его избушку цыганятки с Цыганской

улицы, спрашивают: «Рома, ты дома?» А его нет, вчера отвезли в Томск, на прививку в Пастеровский институт!

Я стараюсь защищать охотника, говорю ей:

— А может малиновки съедобные, как гуси или лебеди? В старину лебедей подавали на боярский пир... Ты видела когда-нибудь малиновку!..

Маруся смутилась, нерешительно лепечет:

— Нет! И понятия не имею! На картинке только...

А я ее утешаю, говорю, что малиновку и на картинке не видел.

Стали мы искать малиновку в словаре. Написано кратко: «Пташка», и приписано латинское название. Вот и все!

В словаре больше всего о малине. Есть малинный, цвета ягоды малины, дорогой камень сибирский. Темноалый, с небольшой просинью. В нем наше сибирское небо и наши зори, таящие робкие надежды на что-то новое и сказочное.

Есть яблоки такого сорта, называются малиновкой — сладкие, с легким кваском на вкус, запахом приятные.

Мы с Марусей дочитали до бутылочного меда, скипяченного на малине и малинной настойки. Старушка Павловна, ссыльная поповна, обитавшая в нашем доме, тихо и спокойно лежавшая на печке, мирно отдыхавшая от трудов праведных, вдруг сполохнулась:

— Про малиновые настойки читаете, уроков не знаете. Время идет, лампочка догорает. За керосином, к господину Нобелю, кто пойдет киселя хлебать? Павловна?

Я уже и так свои лаптишки истрепала... А новые кто даст? Микола угодник? Он и сам по наших местах, со святым Миколой Кочанским, босой ходит. Люд у нас такой, что не разживешься. Мерзлую морковку и то

жаль дать. «Свиньям дадим, а тебе не подадим!» — так и говорят.

Господин Нобель прошлый раз сказал, что больше керосина не даст. Я, — говорит, — керосин оптом продаю. Иди в мелочную лавочку. Из жалости ткнул в тазик. Начерпай, а больше не приходи. У меня из-за тебя может неприятность выйти с властями и с публикой!

За пазуху мне карасиков насовал из своего пруда. Говорит: «Из-за этого огорчения не будет. Караси мои, кому хочу, тому даю». А потом напустился на меня: «Что ж вы? Живете в болоте, а карасей не разводите? Времени нет? Да этим между делом можно заниматься. Я керосинщик, а вот управляюсь и с карасями. Яблоньку выращиваю, видишь дерево — листики темнозеленые, а яблочки малиновые! Как в самоучителе Берлица!» Самоучитель мне тоже за пазуху сунул. Детям, говорит, пригодится!

Мы с Марусей немножко помолчали, извинились перед Павловной. Понимали ее трудную жизнь у чужих очагов, в заботах о чужих детях. Усердно стали учить уроки, чтобы не огорчать ее, так как она за нас несла ответственность. Наша мать была в больнице.

Но о малиновке мы не забыли. Однажды, уже другим летом, перелез я через наш старый плетень и пошел лесной тропинкой искать медунки.

Цветики такие были с малиновыми и синими лепестками на стебельке. Стебелек съедобный, сладкий на вкус, а лепестки таяли во рту, как мед.

Слышу надрывается-плачет какая-то лесная пташка, но я ее не вижу. Я свернул с тропинки на ее голос и увидел потрясающую картину. Почти на высоте человеческого роста, на небольшом деревце ютилось изящное гнездышко искуссно сплетенное из красивых тончайших прутиков. Ветки и листья давали ему сень и укрывали от непогоды и излишне любопытных взгля-

дов. Но к ужасу моему, все гнездышко занимал чудовищный птенец с большой открытой желтой пастью. Весь он был покрыт колючками еще не развившихся перьев, имея вид дикобраза.

Когда он заметил меня, голое тело его затрепетало от волнения. Он съежившись, приготовился к защите.

На краюшке гнездышка, чуть держась цепкими, но слабыми, лапками, поминутно рискуя свалиться, примостился его малюсенький собрат, птенец лесной пташки.

Внизу валялись несколько таких же малых птенчиков. Один уже представлял скелет, обглоданный муравьями и облепленный мухами. Другой был еще трупом, к которому лишь недавно приступили своеобразные хирурги, всевозможные насекомые.

Третий, видимо только что выпавший и разбившийся, весь окровавленный, еще был в сознании, но не мог пищать. Безгласно-скорбный, немым раскрытым ртом тянулся на голос матери.

Тогда я, первый раз в нашей тайге, увидел настоящее непреодолимое горе.

Предо мной, с деревца на деревцо, в неописуемой материнской тревоге и тоске, переполнившей и надорвавшей птичье сердце и как будто с кровью выплеснувшейся наружу, пылал ярким пламенем летучий цветок. Сгорал мотылек, скорбно металась алая тесная пташка малиновка, в полыме своих страданий.

Что она тогда вопила миру, своим птенцам и приемышу? Что говорила мне? Искала ли во мне помощь или самоотверженно хотела защищать от меня свое гнездышко? Все это так и осталось для меня непостижимой тайной — навсегда!

Когда я рассказал о малиновке моей сестре Марусе и старушке Павловне, они в один голос мне ответили:

— В нашей тайге много страшных тайн, но Бог милостив!

СКВОРУШКА

У нас некоторые старики иной раз ворчали: «Парнишка скворечничает да перепелятничает. А от дела бегает!»

Вот таким был и соседский мальчик. Друг моего детства. И на меня влиял в этом отношении.

А как сказать? В какой степени это — безделье... Любовь к птицам? Деятельность живая, кипучая. Требует от человека темперамент и энтузиазм, птичье сердце... И крылатую птичью душу!

Да и сами старики, в молодости, если не перепелятничали, то щеглами увлекались. Даж в одной басне было сказано:

«Какой-то смолоду скворец,
Так петь щегленком научился,
Как будто бы он с ним родился...»

Баснописец, подметил способность скворца легко перенимать чужие голоса. Впрочем, скворцу своих песен хватает.

Основные напевы скворца: алеманд, полукурант, перенеси-Бог, ямской свист, клыканье, ржание и червякова дудка. Семь колен. На досуге всякие вариации и импровизации.

Прозаики скворцов едят. Скворцовина горькая. Едят ее разве только горячую. Пластанную и жирную — на сковороде.

Слово «скворец» происходит от старинного слова «сквора». Украинское слово «скворчать» того же корня — чирикать, шипеть. Как жареное на сковороде.

Что поделать с прозаиками? Каменный розовый скворец, именуемый шрикун, в свою очередь, поедает саранчу. Даже не поджаренную . . . Как библейские отшельники!

Поджаривать ее любят гурманы пустыни. На больших железных листах. Опаленная саранча подпрыгивает. Гурманы с увлечением ее лускают, будто подсолнухи. Потом в опроставшиеся листы бьют, как в барабаны.

Становятся у костра в круг, исполняя какой-то воинственный танец. После чего идут на охоту. Или тропой войны, — как индейцы.

У нас, в Сибири, скворцы служили календарем. Даже в старых Святцах, между житиями святых отцов и пустынников, было отмечено: «Как скворцы из гнезда, пора гречу сеять!»

Скворцов ласково звали скворушками, скворчиками. Некоторые наши местные щеголи ходили в скворцовых жилетках. Темного цвета с мелкою белесоватой рябью. Как говорилось: «Франт одевается под скворчика!»

Я не говорю о чулках. Называвшихся тоже скворцовыми. С такой же скворцовой рябью.

Скворцам делали скворешни. Выставляли кузовок, на шесте. Перед домом, у ворот, над окном — наслаждаясь скборчиным пением.

Делали скворечницы и из старого колеса. Или художественно мастерили резную и расписную избушку.

Скворцов очень любил доктор Антон Павлович Чехов. Побывавший у нас в Сибири. Вернувшись домой, он соорудил скворечницу вроде нашей. Даже под ней сделал вывеску: «Братья Скворцовы», должно быть имея в виду какой-то торговый дом. У нас же вывески не было.

Скворечню мы купили по случаю, на базаре. Но в

ней, с точки зрения самих скворцов, были какие-то дефекты. Они не желали в нее вселяться.

Пришел на помощ соседский мальчик. Взял в руки скворечню. Повертел ее туда-сюда. Мгновенно что-то сообразил.

Тяп, ляп! И скворечня мгновенно превратилась в жилище. Угодное скворцам.

Скворечню я выставил на шесте довольно ранней весной. Когда еще не прилетали скворцы. В нее, прежде всего, вселились воробьи. Натаскали соломы и куриных перьев, в предвиденьи потомства.

Но, вдруг, неожиданно явились скворцы. Они первонаперво, повыкидывали воробьев. Потом солому и перья.

Было целое сражение. Надо было удивляться героическому поведению папы-воробья. Он взъерошенным комочком, защищал свое право на жилье.

В конце концов воробьи примирились с выволочкой, какую им задали скворцы. Устроились у нас под карнизом. Долго они язвительно чирикали в сторону отнятой у них скворечни. Косили свои глазки на скворцов. В их голосках была и горькая обида, звучавшая так, что трогала и людское сердце. Но скворцы были безучастно-холодны. Гордо восседали на скворечне. Презрительно поглядывали в воробьиную сторону.

Мы не заботились приискивать своим скворцам корм. Они его сами добывали всюду. Сразу же под ними, за забором, был огород. За плетнем огорода — тайга.

Однажды, случайно, я заметил — скворец, чтобы накормить своих детей, из капустной грядки тянул длинного дождевого червяка. В этом занятии он вытянул свой длинный нос, шею и туловище, упираясь в землю. Может быть потом, в этой позе, он и тянул на скворечне свою руладу. Седьмое коленце, называвшееся у стариков «червяковой дудкой».

Вообще, скворцами я тогда мало занимался. Новой страстью у меня были голуби.

В один прекрасный день, перед заходом солнца, я сидел у окна. Учил уроки и в то же время пас кур. Чтобы их кто не задрал.

Вдруг слышу, скрипнул журавель соседского колодца. Звякнуло ведро, плеснула вода. И скворец все это изобразил в своей песенке наблюдателя. Подражая возникшим звукам.

Заскрипела и затарахтела в соседнем дворе телега Он повторил и эти звуки. Прислушавшись к тишине, свистнул. Заимствовал это из своего четвертого колена, называвшегося «ямской свист».

Кто-то щелкнул бичом. Послышался конский топ и телега опять затарахтела. Скворец еще раз свистнул по-ямщицки. Ему ответил свистом соседский мальчик. Мальчика, как и его савраску, ласково звали Васей.

Скворушку мы прозвали драным музыкантом. У него, после ссоры с воробьями и другими скворцами, костюм был не в порядке.

Но его гимн восходящему солнцу был великолепнее пифагорийского гимна. В этот, поистине торжественный и священный, момент он был неузнаваем. То он казался живой статуэткой, сделанной из вороненой стали, то преображался в воздушного крылатого таежного божка. Пронизанного божественным светом и божественными звуками. Их излучавший, как в ореоле.

И вот, теперь, читаю Раймонда Лулия, поэта, философа и миссионера. Одного из оригинальнейших представителей средневекового миросозерцания. Привожу вам его стихотворение, называемое «Маленький апостол»:

«Скажи мне, птичка!
Ты зачем поешь?» —
«Меня учил Владыка мира,

Он за позор
считал бы для себя
молчание мое!»

Раймонд Лулий родился на острове Майорке, принадлежащем к группе Балеарских островов. В городе, с поэтичным наименованием — Пальма. Молодость он провел при Арагонском дворе. В качестве королевского стольника.

Не так давно я видел остров Раймонда с берегов лазурного Средиземного моря. Вспоминал нашу хмурую тайгу. Но какую любимую... И нашего милого скворушку, бедного, драного музыканта.

ВОРОБЫШКИ

(Степка)

Степка стоял на песчаном берегу нашей реки Кии, Прыгая на одной ноге. Кому-то укоризненно вытанцовывал:

«Андрей воробей,
не летай на реку,
не клюй песку,
не тупи носку.
Пригодится носок
на овсян колосок!»

Степка изображал журавля. Которому в это время года река была по лодыжку. А воробью — по колено.

Перед Степкой был настоящий серый воробей. Всем нам известный. Звавшийся Андрюшкой. Андрюшка чем-то провинился перед Степкой. В свое оправдание стал робко лепетать:

— Я уже овса налопался. Жду воробьиной ночи,

осеннего равноденствия. Лето на склоне. Как дедушка Крылов сказал: «Уж зима катит в глаза!»

После этого Андрей-воробей объяснил Степке, что он видел его воробьятню. Ловушку для воробьев. Слаженную из четырех кирпичей и настороженную пятым. Откуда он повытаскивал все овсинки-приманки.

Кроме того, Андрей-воробей поведал Степке. У него есть еще один коварный враг. Маленький кобчик-воробьятник, он же и перепелятник.

Что по ним, воробьям, иной раз солдаты стреляют из пушки. Он,Андрей-воробей, их не боится, и на них чирикает. Как и на кошку Авдошку, и на него, Степку . . . И готов со всеми сражаться!

Обозвав Степку растрепкой, воробей взвился над Кией. Сделал вид, что летит за реку, в деревню, называемую Малой Пристанью. Прошмыгнул под большими царскими воротами. Построенными по случаю проезда наследника-цесаревича Николая Александровича. Такими же радужными, как будто возле стражни. Взвился к шпицу собора, полюбоваться окрестностями.

Андрей-воробей, с крыши собора, видел весь наш маленький белокаменный кремль, с могилками особенно почитаемых граждан. Перелетел на обывательское кладбище. Оттуда в солдатский сад и вскоре очутился дома, у нас на крыше.

Под крышей, весной, у него было гнездышко. Чудесно сделанное из золотистой соломки и бело-коричневых куриных перышек.

В гнездышке лежали пять или шесть бело-коричневых яичек, с темно-коричневыми полосками-ниточками. И с красивыми крапинками, как веснушки!

Куриные перышки хитроумно декорировали воробьиные яички. Были им под цвет. Нужна была большая сообразительность чтобы их обнаружить.

Соседские мальчики яички забрали на коллекции.

Чтобы отправить их в Томск, в университетский город. Гнездышко зачем-то разорили.

Сам Андрей-воробей был когда-то малым воробышком. По собственной неосмотрительности выпал из гнезда.

Он не разбился. Упал в мусор, а не на твердую землю. Мы взяли его домой и вырастили.

Я заметил, что о воробьях было унас много всевозможных пословиц. И веселых, и печальных. Но всегда метких и колоритных.

Вот говорили: «Старого воробья на мякине не обманешь! . .»

Была даже песня, как повадился вор-воробей в конопельку!

Была загадка: «Полна коробушка золотых воробышков!» Это жар в печке. А на небе — созвездие Большой Медведицы! Тоже горит, как угольки.

О воробьях существовало много всяких сказок, былей. Даже ученых трудов. Да и воробьиный род велик и многообразен. Есть воробей домашний и полевой. Воробей камышовый, вроде синиц, а также воробей горный.

Воробей водяной — пташка, напоминающая скворца. Также куличок-воробей, самый маленький поручейник, песочник.

Воробей, с незапамятных времен обитает совместно с человеком. Его можно было бы причислить к домашней птице.

Трудно себе представить человеческое жилье без воробья. Есть другие вольные птицы, так сказать приткнувшиеся к человеческому жилью: аист, ласточки, скворец. Но они, за редким исключением, живут своей особой жизнью. Не очень любят общаться с человеком.

На все библиотеки литературы о воробьях, я не про-

менял бы рассказ старого Абрума. Абрума существовавшего в нашем городке подаянием. Он был без ног и почти что без рук. Жена возила его в самодельной тележке, сделанной из свечного ящика.

Ящик подарил добродетельный соборный староста. В нем Абрум казался беспомощным. Как еще не оперившийся воробышек.

Абрум мне рассказал. Когда он был юным, здоровым и учился в школе, отец, однажды, зашел в его комнатушку. Застал Абрума за книжкой.

— Ты учишь уроки?

— Нет!

— Но что ты думашь?

— Я думаю: куда денутся воробышки, когда наш домишко сгорит?

При всей своей любви к сыну, оказывалось, что отец Абрума не понимал. И отец искренно, глубско скорбел, размышляя: «Что Абрум думает о воробышках, это не плохо. Но что будет с Абрумом? Если он только этим будет заниматься?»

И отец не предвидел, что Абрума будут возить в самодельной тележке, сооруженной из свечного ящика. Как маленького воробышка.

Что этот мечтатель останется юным до самой глубокой старости. В свечной тележке будет приветствовать всех радостью и солнцем.

Но в этом Абрум многим был обязан своей жене. Ее имя было Мария.

Я не могу сказать, насколько она была красива. Но она была прекрасна. Чудесно сохранившимся обликом библейской женщины... Никакими словами этого не передаш!

Лишь чудо могло пронести через века и страны этот поистине святой образ!

ПОДСОЛНЕЧНИК

И подсолнухи крылаты
Целый строй, за рядом ряд,
Как солдаты в ярких латах
В небе солнце сторожат!

Помню, еще в детстве, в какой-то книжке, читал:

«И подсолнечник у входа,
Словно верный часовой,
Сторожит мою дорожку,
Всю поросшую травой . . .»

Сколько поэзии чувствовалось в этих простых строчках! Невольно рука тянулась посадить подсолнечное зернышко. Если не у дорожки, поросшей травой, то хотя бы в маленькой цветочной глиняной баночке.

Поставить ее на подоконник. Ждать, когда из пригоршни землицы зернышко робко пробьется к солнышку.

Если, через некоторое время, его удастся пересадить под окно. Или где-нибудь у плетня или забора. Оно вырастет в человеческий рост. Зеленый, смолистый и пахучий ствол похож на деревцо с широкими листьями. Как лопушки!

Когда подсолнечник расцветает, цветок кажется коричневым бархатным солнцем. Большие желтые лепестки похожи на золотые лучи солнца.

Неудивительно, что подсолнечным местом в народе называют место, где светит солнце. И из любви к солнцу, именуют землю нашу, а иногда и всю вселенную — подсолнечной:

«Мы в подсолнечной вселенной
обитаем,
не во тьме!»

Подсолнечник многие кратко называют солнечником или просто подсолнухом. У нас, в сибирских степях, очень живописны украинские деревеньки. С хатками, обсаженными подсолнухами. Когда этим любуешься, видишь, что кроме солнца, которое в небе, есть в степи солнечная деревенька со множеством солнц. Украшающих ее и приветливо улыбающихся прохожему и проезжему.

Иногда видишь, в чарующей грезе, — со множеством этих волшебных солнц земля возносится к небу . . . И небо сливается с землею!

Мне вспоминается и картина нашей сибирской монастырской жизни:

Брат Порфирий любит зверя,
Любит птицу и цветы.
У монахов есть поверье:
Губят праведных мечты.
У него завелся кролик,
Не домашний, а дикой,
Недоступный, что католик,
Не дотронешься рукой.
Вот и сделал он лазейку,
Чтобы думку обойти,
Золотую канарейку
Он решил себе найти.
И подсолнечник у входа,
В жаркой шапке, как солдат,
И в ненастную погоду
Сторожить монаха рад.

Подсолнечник являлся не только декоративным растением. Он был ценен и в ином отношении. Из него изготовлялось подсолнечное масло. Подсолнечное семя на фабрике сперва шло под жернова. Шелухой топили паровой двигатель. Он приводил в движение различ-

ные машины. Семя засыпалось в котлы. Варилось паром с небольшим давлением. Превращалось в кашу. После чего эта горячая масса попадала в тигли с довольно большим давлением. В них выжималось подсолнечное масло. Спрессованная макуха шла на корм домашним животным и птице.

Масло отстаивалось в баках. Потом его сливали в большие сосуды. Разливали по бутылкам.

Вскорости можно было видеть в витринах магазинов бутылки. С золотистым подсолнечным маслом. С золотой этикеткой.

На этикетке, в веночке из цветов подсолнечника, золотыми буквами было написано: «Подсолнечное масло высшего качества. Продукт сибирских степей».

И золотыми же буквами был написан адрес фабрики, где масло было изготовлено. На некоторых маленьких заводах производство шло более примитивным образом. Но масло, все же, было хорошее. Некоторые фабрики имели свои подсолнечные поля. Тогда любо было посмотреть на подсолнечники. Золотое войско в золотых доспехах, охраняющее подсолнечную фабрику — степную Царь-Девицу. А издали подсолнечные поля казались колышащимися золотыми коврами. Дорогой к пресветлому солнцу.

Больше всего подсолнечное семя доставляли ближайшие села и деревни. Семя привозили на добродушных волах. В тяжелых телегах. В больших мешках-чувалах. От мужиков, одетых, несмотря на жару, в кожухи, пахло дегтем, овчиной и подсолнухами!

ПЧЕЛКИ

«Пчелка труженица,
и на себя, и на людей
и на Бога трудится!»
(Сибирская поговорка.)

На святого Зосиму Соловецкого, семнадцатого апреля, расставляют ульи. На Савватия Соловецкого, сентября двадцать седьмого, убирают в мшанник.

Так зачинается и замыкается пчелий трудовой период. Но о пчеле пчеловодам приходится заботится круглый год. Тоже не без упования на сих соловецких святых. Покровителей пчел!

Каждая пасека представляет собой кипучее царство. Полное почти незримой деятельности. Чуть уловимых звуков.

Рабочая пчела строит соты. Матка — царица пчел, одна в каждом улье, на весь пчелиный рой. Без нее он разлетается.

Порой пчела ревет. Жужжит по-особенному. Угадывая, что матка трутневая. И от нее не будет рабочих пчел.

Иной раз пчела жужжит. Рой тревожно мечется, ища матку. И сама матка поет. Чуя в улье соперницу. Собирается ее устранить. Чтобы она не мешала ей руководить ульем.

О пчелах всего интереснее бесчисленные народные загадки. Вот одна из них:

«Сидит черница
в темной темнице,
вяжет узел ни петлей,
ни узлом!»

Вот другая:

«В темнице девица
узор вышивает.
Ни иголки, ни шелку,
а узор с толком!»

Вот третья:

«Сидят девушки на горенках,
вяжут бисерок на ниточки . . .
Их глазки черненькие
в улыбочках!»

А вот четвертая:

«Летит цветок золотой,
с золотой тафтой . . .
Еще та тафта
Христу годна!»

У пчел много врагов. Прежде всего медведь-пчелух. Он же овсянник, охочий выдирать мед.

Есть пчелиный ястреб. Иначе называемый пчелыш, пчелояд. А также пчелинец или пчеловор, именуемый желной — черный, красноголовый большой дятел. Жадно поедающий пчел.

Кроме того существуют вредные пчелам насекомые. Даже в ульях заводящиеся.

Иной раз против пчел бывает и природа. Различные стихии. У поэта Николая Александровича Некрасова было большое стихотворение «Пчелы», названное притчей. Посвященное детям. Некий рассказчик, очевидец начинает свой рассказ. Обращается к мальчику:

«Натко медку с караваем покушай,
Притчу про пчелок послушай! . .»

Дальше он рассказывает, что у них произошло наводнение. Не в меру разлилась вода. Было сухо лишь селение, где жил рассказчик, и то лишь по огороды. Где находились ульи пчел.

Пчелки оказались окруженные водой. Они видят и

лес, и луга вдалеке. Ну, и летят. Не могут сидеть без дела. А назад им, нагруженным ношей, сил не хватает перелететь реку. Вся вода запестрела пчелками, упавшими в реку. Тонут Божьи работницы. Люди не чают, как помочь им. Да, вот нанесло человека прохожего. Он надоумил, Христов человек!

«Вы бы по реке им до суши вехи поставили!» — такое он слово сказал.

Когда по реке начали ставить вехи, пчелки поняли: люди идут им на помощь.Как богомолки в церкви на лавочке, облепили вехи. Посидят, отдохнут и отправляются дальше, к своим ульям.

Обратившись к мальчику, рассказчик притчи закончил свою беседу. Радостными были эти слова: «Кушай на здравие. Будем с медком. Благослови Бог прохожего!»

Он осенил себя крестным знамением.

Мальчик дослушал притчу. Отведал медку с хлебцем. О прохожем помолился Господу Богу.

У меня тоже был случай, когда меня угощали медом. Было жаркое лето. Истомленные зноем и духотой, мы пробивались просекой через хмурую чулымскую тайгу. Но тайга в ти дни все же была во всей своей красе. Вдруг, мы неожиданно вышли на широкий косогор. Большую лужайку, как цветами усыпанную ульями.

За пасекой виднелась сторожевая башенка. Не на курьих ножках, и не на журавлиных. На высоченных, как телеграфные столбы, жердях.

У входа на пасеку лежало гигантское полусгнившее дерево. Оно было сказочных, невиданных, размеров. Я, усталый, сел на него.

Немного спустя, озираясь кругом, я увидел избушку пасечника. Приткнувшись к скале, как старый гриб, она все же была очень живописна.

Избушка хитростно декорировала себя мхом и палым листом. Подойдя к ней близко, ее не заметишь. Тем более и скалы, и могучие деревья, скрывавшие ее от лишних взоров, были тоже цвета палой листвы. Рядом с избушкой был мшанник. В нем зимой хранились пчелы.

Пораженный нашествием орды, которую мы собой представляли, пасечник вышел из своей избушки. Увидев меня он улыбнулся. Бросился обратно в избушку.

Через несколько времени вышел. Он держал в руке ломоть черного хлеба, густо намазанный свежим медом. Виднелись даже вощинки сотов.

В другой руке была полная чаша медового напитка. Какой, в старину, вероятно, подавали к столу боярам.

Я поблагодарил старика пасечника. Подождал, когда люди, меня сопровождавшие, расположатся станом. Приступят к обеду.

Тогда только я поднял чашу с земли, на которой она стояла. Она пошла в круговую. Я сказал пасечнику:

— Да здравствуешь, дедушка, ты! .. Твои пчелки и твоя зеленая лужайка пусть тоже здравствуют. Под твоей гостеприимной сенью так отраден отдых!

ПИСКАРИКИ

«Я его тиск,
а он: писк!»
«Которую овцу волк задавил, та уже не пищит!»
«Не было у бабы писку,
так купила шелудивого
порося!»

А то вот у нас лицу приманивают. Один на дудочке мышкой пищит. Другой в засаде сидит. Подкарауливает, чтобы лису подстрелить.

Есть зверек пищу́ха. Среднее между зайцем и мышью. И птаха-пискуха. Лазящая по деревьям, как дятел.

Кроме того, есть гусь такой породы. Называется пискуне́ц.

Я не знаю, пищат ли они. Но бывают люди, с жалобными голосками, старички и старушки . . . Их зовут старыми пискуна́ми!

Пискливых же птичьих птенцов и малых ребят кличут пискля́тами.

Но наши пискарики не пищали. Любили шнырять у песчанных бережков. Их следовало бы называть не пискариками, а пескариками. От слова «песок».

Впрочем . . . Как сказать? Может быть пискари, попавшие в сетку или на удочку, перед смертью и пискнут. Расставаясь с жизнью.

Есть рыбаки, которые не пренебрегают и пискарёнком. Один французский писатель ловил на удочку лягушек. Они тоже съедобны.

Но с ним произошел случай. Лягушкины дети самоотверженно старались освободить от крючка свою маму. С упреком смотрели на писателя. Он, в порыве раскаяния, сам снял лягушку с крючка. Пустил ее на травку. После этого он перестал рыбачить и ловить лягушек. Значит, была у человека совесть . . . И доброе сердце!

Мы, сибиряки, к рыбной ловле с малых лет приучались. Всякое дело надо начинать с азов. Мы, прежде всего, приступали к лову мальвы. Самой малюсенькой рыбешки. По маля́вку идти было действительно недалёко. Надо было перебежать наше болото зыбучей гатью. Попрыгать босыми ногами по шатким тротуарам главной Большой Московской улицы. У собора спуститься с крутого бережка. К песчаным отмелям реки Кии.

Здесь получался целый пляж. На нем в солнечные дни, городская мелюзга, ребятишки, проводила свои досуги.

Старые люди нам говорили: «И досуг делу друг!» Чтобы не болтаться зря, мы принимались рыбачить.

Рыбачья снасть была под руками. Штанишки, с завязанными узлами штанинами, великолепно заменяли сети. При удаче можно было наловить мальвы... На целую сковородку. Она была горьковата, но ничего — съедобна! Когда подросли, мы ходили рыбачить верст за одиннадцать. В настоящую тайгу. На речку Антибе́с. Где можно было повстречаться и с лесным хозяином Мишкой Топтыгиным. Тоже большим любителем рыбной ловли.

Впрочем он пискарями не интересовался. Норовил рыбку ловить покрупнее. Зажав в лапу, начинал ее с головы. Дело тоже не обходилось без рыбьего писка.

Он своим занятием весьма увлекался. К нему можно было, в это время, подойти почти вплотную.

Оглянется, добродушно улыбнется. Думает, что подошел такой же, как он, любитель рыбы. Швырнет обглоданный рыбий скелет. На, мол, ешь! А сам в кусты. Тут уж за ним не гонись!

Однажды мы заночевали на берегу речки Антибе́с. Развели костер. И в первый раз узнали, как труден ночлег в тайге... Даже летом!

Костер грел только с одной стороны. С этой же стороны он кое-как, дымом и пламенем, защищал от назойливых комаров и мошек.

Догадались отгребать золу. На ней укладываться. От поры до времени бегали к воткнутым в берег удочкам. Посмотреть, не попалась ли рыбка.

Крупная рыба нам не давалась. За ночь наловили пискарей на две-три сковородки. Съели по пискаренку, а остальных позавертывали в томскую прогрессивную

газету «Сибирская Жизнь». Принесли домой в подарок. Восторг домашних был неописуем: «Наши ребята наловили пискарят!»

Есть их пришлось самим же. Другие от них отворачивались. Блюдо вышло неважное. Может быть пискарей мы не сумели приготовить как следует. Но ели их с увлечением.

«Пискари- сударики,
чем же вы прославились?»
«На ржаных сухариках
нас поджарили!»

ЗАИНЬКА

«Не ищи зайца в бору,
на пушке сидит!»

Однажны, ехавшему из деревни Александру Сергеевичу Пушкину заяц дорогу перебежал. Александр Сергеевич, веривший в плохие приметы, домой воротился.

И говорили люди, что хорошо сделал. Быть бы ему в городе вместе с декабристами. Под арестом!

У нас сибиряки тоже верили в плохие приметы. Но как народ сообразительный и практичный, на всякую плохую примету имели свою отговорку. Что-то вроде заговора: «Зайка! Ехать не мешай. Мы за тобой не гоняемся. Тебе лес да поле. Нам путь да воля!»

Бывало, что и гонялись за зайцем, перебежавшим дорогу. Цена зайцу всего две денежки. Бежать за ним рублей в сто обходилось. Да пока зайца убьют — вола съедят.

Проезжие, видя такую суету, с возов все повытягивают. Другой раз и колеса снимут. Оставайтесь, мол, на заячей охоте. Если вам так нравится.

Острили некоторые насчет зайца и с духовенством:

«Батюшке куницу. Дьякону лисицу. Понамарю горюну серого зайку. Просвирне хлопуше заячьи уши!»

В этой шутке почему-то обошли дьячка-псалмопевца. И заячьими ушами обидели просвирен. Хотя они не все подслушивают и сплетничают.

Кстати скажу, люди ученые мне говорили. Будто бы на заячьих ушках есть по несколько длинных щетинок. Они заменяют зайцу радиоантенну. Заяц, обыкновенно, садится на опушке леса. Навостряет ушки, уловив в какой стороне подозрительные звуки и шорохи стремглав уносится от опасности.

Он не крылат. Но мчится по лесам и долам, как птица. В гору летит вскач. С горы перекувыркивается через голову, делая хитроумные петли.

Заячий род многочислен. Заяц беляк или беляй живет в лесах. Зимой белеет весь. Заяц русак больше и крепче беляка. Он живет в степях. Остается зимой серым. Заяц тумак, помесь того и другого. Заяц горный, на Усть-урге и Алтае. Зовется талáем или тулáем.

Кроме того есть норный заяц. Называющийся трýсиком или кроликом. А также земляной заяц, тушкан. Вроде большой мыши. С долгими задними ногами.

В оренбургской, казачьей, области он величиной с кролика. В южной Сибири обитает малый тушкан или тушканчик. Не больше крысы. Местами зовется табаргáном.

Я уже не говорю о морских зайцах. Животных вроде нерпы или тюленя. И о зайцах — морских слизнях.

А также о лесных грибах, называющихся заячьими ушками. Растущими кучками возле пней. Тоненьких черно-желтых. Вполне съедобных! Может быть у этих грибов тоже есть антенна. Чтобы ощущать окружающий мир.

Не говорю о заячьей капустке. Всем известной травке, с широкими листиками. Похожими на капустные.

Заячьими лапками называется трилистник луговой, клевер. Морщинки на висках пожилых людей также называются заячьими лапками. Зайчуками зовут и синь-цвет, милые цветочки васильки... И волны в море-кияне!

Наконец, зайчатником называют небольшого орла. Промышляющего зайцев. Так же именуются и охотники. Малые и большие. Увлекающиеся заячьей охотой и любители зайчатины, — заячьего мяса. Если бы они даже по зайцам и не ходили, а сидели дома.

Однажды, в начале зимы, почти по первым пушистым снегам, я выехал из маленькой степной деревеньки. В большое таежное старожильческое село.

Чтобы сократить путь, ямщик свернул с перелеска на полевую дорогу. По ней летом возили хлеба́ и сено.

Мы ехали на простых санях. Оставляя широкий след полозьев. Неслышно ступал конь по глубокому снегу. Полозья лишь на пенушках слегка поскрипывали. Подпрыгивали или отшатывались в сторону. Это меня пробуждало от сна.

Вдруг я слышу, где-то в перелеске, в снегах, рыдает младенец. Рыдает скорбно. Жалобно. И эта скорбь отзывается в моем сердце. Тревожно спрашиваю ямщика:

— Где плачет ребенок?

— Да это, должно, зайка попал впетлю!

Я мгновенно привстал с саней. Тронул ямщика рукой.

— Слезай! Пойдем спасать!

Мужик внезапно оживился. Весело сказал:

— И то дело!

Мы пошли в лесок, на заячий вопль. Почти по пояс утопая в рыхлых снегах. Долго не могли найти зайку.

Он затих, притаился в своей петле. Услышал, что кто-то пробирается. К тому же его скрывала белизна снегов. На их фоне он казался пушистым комочком. С

чуть-чуть бирюзовым отливом. Более чудесным, чем снега. Может быть небо стеснялось украсить его как должно, сибирские снега. Так как их много на обширном пространстве. И всю свою ласковую краску подарило зайке.

Заяц, увидев нас, начал метаться в петле. Окрашивая снег темно-алой кровью. У него еще до нашего появления была поранена лапка.

Я неторопливо, с ласковыми словами, подошел к зайке. Начал его освобождать. Подошедший ямщик отстранил меня.

— Ты не умеешь! И не знаешь какой ответ держать по этому делу. Петлю поставил охотник. Значит заяц его добыча!

Ямщик сам высвободил зайку из петли. С недоумением спрашивал меня:

— Чево ж мы с ним будем делать?

Я вынул карманную аптечку. Перевязал зайке лапку. Сунул его себе за пазуху тулупа. Привезли домой. Когда он немножко подлечился, пустили на волю. Он первое время жил где-то неподалеку от нас. На огороде обгрыз бабушкины тополя . . . И совсем исчез! Но я никогда не забуду его жалобный детский плач. Так он тронул мое сердце.

На другой год, по осени, южнее наших мест, в Кулундинской степи я увидел черного зайца необыкновенной величины. Даже ужаснулся. Он мчался, как ветер, чудовищным перекати-полем. Пересекая нам дорогу.

Мой ямщик торопливо снял шапку. Испуганно перекрестился. Робко прошептал:

— Чур меня, чур!

Приподнялся на козлах. Помахал кнутовищем в сторону бежавшего зайца. Стал неистово улюлюкать:

— Бежи, косой . . .
Бежи, не стой!

Оборотившись ко мне, прошептал тихо-таинственно:

— Это оборотни! Здешние ханы, потерявшие свои ханства. Тут они когда-то жили со своим народом. Вот теперь мечутся из края в край. Ищут пристанища.

Много лет спустя, в Амурской тайге, мне выдался солнечный осенний денек. Который тоже трудно забыть — я заблудился.

Вдруг где-то за горами, трахнул гром. Еще и еще, и затих. Я перепугался. Думал, скоро разразится гроза. Посмотрев на небо успокоился. Надо мной было тихое, лазурное, безоблачное небо.

Не прошло и несколько минут. Нарушая окружающую тишину металлическим шелестом крыл своих, с высоких ущелий гор, на меня летел настоящий дракон. В золотой чешуе, дыша огнем и пламенем.

Он с шумом обрушился на меня, сбивая с ног. Тольтогда я понял, что стоял в русле высохшего потока. И вот, он вернулся в лоно свое. Весь в палых листьях. Как в золотой броне!

Откуда-то раздались вытрелы. Высунув языки, визгливо лая мчались собаки. Большой, долговязый заяц, бархатистый, цвета палой листвы, проскочил мимо меня бережком потока. Я еле успел ему крикнуть:

— Бежи, косой . . .
Бежи, не стой!

Еще мгновение . . . И он, летучий, весь золотой на солнце, был уже в ущельях. Там, откуда вылетел золотой дракон!

Неодобрительно на меня посмотрели собаки. Сурово взглянули подошедшие охотники.

Некоторые у нас считают зайца трусливым. Снабжая его нелестными эпитетами — косой, лопоухий. Но большинство людей придерживается восточного взгляда. Считает зайца находчивым и остроумным.

Некий хан издал указ по своему ханству: «Подковать всех верблюдов!» Чем-то они ему насолили.

Верблюды народ покорный. Подчинились ханскому указу.

— Ну, что ж! Будем ходить подкованными!

Однажды, на краю ханства, верблюды увидели: заяц мчится через границу. Кричат ему:

— Стой! Куда бежишь, косой?

— От ханского указа!

— Хан приказал подковать только нас, верблюдов. А ты здесь при чем?

— Вот, подкуют, а потом доказывай, что ты не верблюд. Да и как мне быть подкованному? Как мне тогда бегать?

Ходили слухи, что после случая с зайцем, хан отменил указ кого-либо подковывать. Тем более, что в великие визири пробрался заяц. Он сделался правой рукой хана. Хану это посоветовал.

В это прекрасное время пустыня сделалась заячьим и верблюжьим раем, и зайцу, великому визирю, стало скучно сидеть в унылом ханском дворце. Он в последний раз, по-заячьи сел перед ханом на задние лапки. Навострил свои ушки-антенны. Сказал хану:

— Ты старый нудный верблюд. Не хочу жить у тебя! — и выпрыгнул в окно. Так как ханская стража, стоявшая у дверей, могла его не выпустить.

Вот такого зайца я видел в нашем Туркестане. Он ни в какой степени не был оборотнем.

Несмотря на жару ходил в огромной белой папахе. В пестром ватном халате, как теплое, стеганное одеяло. С кривой серебряной саблей, украшенной бирюзой. В бирюзе отражалось туркестанское небо и Аральское море . . . Такое бирюзовое, что казалось неземным!

Заяц, в общем, у нашего народа пользуется большой симпатией. Откуда и многочисленные заячьи названия

степных и лесных зверьков, ему подобных. Названия травок и цветков. Таежных урочищ и деревень. А также крестьянских прозвищ и фамилий.

И вечный заячий бег не заячья трусость, а такова жизнь зайца. Как и жизнь самой матери-земли. Движущейся, стремящейся в небе. Дающей ему силу, бодрость и вечную жизнерадостность.

Заинька по сеничкам похаживает,
Лапкой об лапку поколачивает:
Эка морозцы, прости Господи, стоят;
В чистом поле снеги белые горят!
Ах кабы мне, заиньке, мужичонком быть,
Ах, кабы мне, заиньке, да в лапотках ходить.
Пирожки бы есть с капусткою,
Сладки шанюшки с морковкою!

ГЛАВА VI

СИБИРСКИЕ МОНАСТЫРИ И ОБИТЕЛИ

Енисейская обитель

Эх, мать честная! Рыбы-то . . . Беда!
Послал Господь . . . Как в море Галилейском
Склонясь за борт, в скуфейке иерейской
Отец Иона тянет невода.
Куда ни глянь — лишь полая вода,
Река течет широко, величаво . . .
А вон, вдали, за скалами, направо,
Волна кипит в бездумьи вековом,
И там обитель — тихий Божий дом,
В цветах и травах, над лесной лужайкой:
Встречает всех радушною хозяйкой —
Она всегда в заботах об одном . . .
Бог в помощь вам, ватага рыбаков,
Ловцов людей, коросты человечей
Целителей духовного увечья! . .
Я к вам бежал из городских оков!

Обдорский Иоанн — полярный подвижник

Под березником шалаш
Крыт кошмой, оленьей кожей.
В нем живет подвижник наш,
Ни с каким другим не схожий.

Наш обдорский Иоанн —
Православной веры знамя;
Чуть живой от многих ран,
Нанесенных остяками.

Слеповат и не речист;
Говорят, что плохо слышит;
Все дрожит как палый лист,
Но глаза любовью дышат.

Не сравнить его никак,
Ни с Миколой, ни с Егорьем:
Он чалдон, рыбак-простак . . .
А любим по Глухоморью!

К Иннокентию Иркутскому

По тайге-то и трава
Тише и святее.
Вот бы мне до Покрова
Выйти не робея.

И с молитвой побрести,
С посохом, котомкой —
Грех в обитель отнести
По чащобе ломкой.

Глянет ласково скиток . . .
На замшелой крыше
Крест, как будто лепесток,
А душа-то выше:

В синем небе ищет рай . . .
Где ты Иннокентий?
Выдь, ворота отпирай —
Не твои ль мы дети?

К святому Иннокентию

До Иннокентия к весне
Дойти, обет монахом даден —
Святой привиделся во сне...
Звенит на шее медный складень.

На складне древний монастырь:
Святые в тучках, Матерь Божья;
Тайга за ним, степная ширь,
Сибири вольной бездорожье.

В скиты отрадный путь

Благослови, Господь,
Отрадный путь
Пришельца на земле!
Пусть шествует
От звона к звону,
И пособи ему во мгле
Придти ко горнему Сиону.

Чулышманский монастырь

Как Сен-Готард. Суровый перевал.
Январский день. Морозно. Солнце блещет.
И ветер жжет. Тайга пред ним трепещет.
Пылает снег, он кованый металл:
Я на горах, но это не Урал:
Алтай за мною грозною громадой,
Ступенька к небу, отблеск Гималай.
Монах принес мне хлеба коровай;
«Поешь, дитя... И в хлебе нам отрада!»
А вот и пёс сдружившийся со мной,

В попонке желтой с красными крестами.
За ним сидит спасенный им больной —
Старик — шаман с отмерзшими перстами:
Нашел его упавшим на пути,
Он брел к родным и сбился у аила.
Его пурга навек не схоронила . . .
И пёс помог к обители дойти!

ЕНИСЕЙСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Около Красноярска находится Енисейская обитель.

В долине Енисея, у обрыва, цвета жарко-ярого, стоит Красноярск.

За рекой — горы, поросшие огромной буро-зеленой щетиной, большой тайгой. Что бы попасть в Енисейскую обитель, надо выйти из города и берегом идти вверх по течению Енисея, вдоль его стесненных берегов. Перейдя долину, называемую Гремячий ключ, в извилинах которой ручей поет разными голосами, надо подниматься горной узкой дорогой, ввиде карниза, с величайшим трудом проделанной монахами в скалах. Когда едешь в поезде, видишь эту дорогу узкой черточкой. А когда идешь, она представляет трудный и опасный путь, так как сверху с отвесной стены могут упасть камни, что не раз и случалось, а если приблизиться к краю дороги, то легко соскользнуть и свалиться на острые скалы обрыва, прямо в Енисей.

Дорога кончается неожиданно волшебной картиной. Перед спутником открывается амфитеатр гор, отступивших от реки, чтобы дать место большой зеленой поляне, на которой приютился миниатюрный монастырь, защищенный невысокими стенами. За ними постройки и небольшая церковь. Все вместе производит впечатление маленького кремля или крепости, окру-

женной вдобавок поясом огородов и садиков, обнесенных плетнем. Ворота монастыря плотно закрываются на ночь. Днем они были широко открыты, и на лавочке сидел привратник, бородатый старичок, в ряске и скуфейке. Около него, на столбике, висел небольшой колокол, в который он звонил, когда нужно было дать сигнал монаху, принимающему посетителей.

Завидев путника издали, привратник вставал и первый кланялся, не дожидаясь приветствия. Относился он ко всем ласково и радушно. В большинстве случаев говорил: «Спасибо вам за то, что посетили нас!»

Однажды мы, тогда еще учащиеся, пришли в обитель. На его зов вышел к нам отец гостинник, принимающий посетителей, крупный монах, красавец, с орлиным носом и очень смуглым лицом. Однако, мы видели, что перед нами настоящий русак, так как говорил он языком простого сословия, умно и резонно. Он тоже поблагодарил за оказанную монастырю честь посещения. Очень поразился и обрадовался, узнав, что мы пришли готовиться к экзаменам, и воскликнул:

— Необычайное для святости дело! Да поможет вам Господь!

После же паузы сказал:

— Не будем тратить время, — вошел в здание, где принимались посетители, и провел нас в помещение вроде столовой.

Здесь было все просто: вдоль стен лавки и большой деревянный стол, ничем не покрытый. Указал на огромный каравай черного хлеба, на огромный же кувшин с квасом, на большую солонку с крупной серой солью и сказал:

— Вкушайте! Хлеб-соль вам!

Перекрестился в угол, где было множество икон старого и нового письма, и добавил:

«Может зайдете в церковь, на минутку, помолиться;

мы никого этим не неволим. Если захотите пойти, то, как услышите звон, а с крыльца увидите маковку церковную, то на нее по дорожке и идите. Она и сейчас открыта, молятся там старички недужные. Молодые-то на работе: кто на огородах здесь на лужайке, кто на полях, наши-то поля на горах, а кто рыбачит. У нас целый флот, видали наши лодки, когда шли? Это наша гордость. То, что вы видали, на починке, а другие в исправности — настоящая флотилия-то наша, на деле.

МОНАСТЫРЬ ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО

Этот монастырь находится, не доезжая до Иркутска, на реке Ангаре, недалеко от берегов Байкала, на станции Иннокентьевская, последней станции Сибирской железной дороги, так как город Иркутск находится уже на Кругобайкальской железной дороге.

Из Иркутска через Ангару, стесненную горами, виден Байкал и даже синеющие за Байкалом горы.

Иннокентий Иркутский должен был за Байкалом «одолевать» Дальний Восток. Лучиками потянулись от Иркутска по всему Дальнему Востоку подвижники разного рода и разного подвига. Некоторые, дойдя до определенных пределов, географических или этнографических, обосновывались. Переходили на оседлость и создавали небольшую христианскую общину, которая иногда разрасталась в большую, раскинувшуюся на огромном пространстве.

Некоторые подвижники шли дальше, как бы ведомые какой-то незримой рукой, на предуказанное им дело. Доходили через горы, тайги и тундры к океану. Наконец, образовалась епархия на далекой Камчатке. Вскорости, не считая океан преградой, христианские подвижники пришли и на американский берег.

ОБДОРЫ

Русское движение из Европы в Азию через Урал носило характер движения человеческого океана, вал за валом. Валы эти шли, захватывая определенные пространства, большие или малые, в большие или меньшие промежутки времени.

Первой же волной в Азию было создание Обдорского монастыря. Во всем этом движении только побережье Ледовитого океана являлось исключением, где человеческая волна немного раньше, до этого, своего рода, великого переселения народов, шла маленьким и кропотливым движением русских несколько иного характера. Это преимущественно шла новгородщина, мирно внедрявшаяся в побережье и мирно в нем растворявшаяся, но стойко оберегая и охраняя свою русскую самобытность, создавая местами очаги православия. К таким древнейшим очагам можно причислить Обдорский монастырь, находившийся на берегу Ледовитого океана, в устье Оби, и славившийся своими яблочками. Яблочки монахи выращивали сами и, были они некоею их гордостью. Принимали иноки всех радушно, с широким гостеприимством, и начинали разговор шутливым обращением:

— Что же это вы к нам приехали, яблочек отведать? Ну, что ж, пожалуйте, рады всякому гостю. Милости просим, и яблочками вас угостим!

А яблочки эти были, в сущности, картофелинки с горошинку, которые выращивались монахами в оранжерейках-парничках. Землю этих парничков монахи берегли где-то у себя в особых местах, чтобы уберечь от лютого мороза — до 60 градусов, — а весною эту землю выносили просто в полах своих рабочих ряс. Пе-

ретряхивали эту землю, как какую-то драгоценность, — пусть на солнышке погреется! И заполняли ею парники. Приготовляли они эти яблочки особым образом и подавали их в конце обеда, как десерт.

КАНДИЯ

(Земля князя Талая св. Владимира Остяцкого)

Когда мирная колонизационная волна охватила огромное пространство между Обью и Уралом, тогда по Оби, выше Обдоры, появился Кандинский монастырь. Он возник там, где находилось село Кандинское, Тобольской губернии, в том месте, где солнце летом никогда не заходит, и туда не только паломники, но и туристы ездили посидеть на бережку и посмотреть на незаходящее солнце.

Этот монастырь, это село и этот край имели необыкновенное историческое прошлое, о чем напоминали и царские манифесты, где в перечислении титулов: «Царь Русский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский» и прочее и прочее, значилось: «И Царь Кандинский».

Необыкновенное прошлое истории этого края связано с именем и жизнью последнего царька Кандинской земли, князя Талалаева (предок его просто звался Талай). Талалаев вошел в историю русской церкви святым князем Владимиром остяцким. Однако, при жизни у него не все было ладно.

Князь Талалаев, ревностно перейдя в христианство со всем своим народом, крестив свой народ и сам крестившись, вдруг, неожиданно, запил, после каких-то необыкновенных потрясений. Пил и безобразничал, что приводило людей в смятение, унять же его не было никакой возможнсти, так как он имел какие-то царские охранные грамоты. Люди, обращавшиеся к властям с

просьбой унять князя, получали ответ, что у них нет права лишать свободы это лицо, и советовали обратиться к духовенству, которое скорее может повлиять на него. Духовенство это и сделало: оно пригласило князя Талалаева в Кандинский монастырь, на его земле им же основанный, и предложило ему основательно отдохнуть.

Он долго жил в монастыре, тихо, в скромной келейке, пока не случилась беда. Однажды весной, с невероятным криком летели дикие гуси, стая за стаей: это был весенний перелет птиц. Талалаев мгновенно схватился, выкрал у привратника ружье, которым отпугивали воров, забрался на колокольню, на самую маковку, к кресту, и начал оттуда палить по пролетающим гусям. Никакие уговоры монашествующих прекратить стрельбу и слезть с колокольни не подействовали на князя Талалаева.

С сияющим лицом, обняв блестящий крест колокольни, он вопил, что на землю никогда не спустится, что ему там хорошо: «и крест, и небо, и солнце, и птицы . . .»

Отцу игумену пришлось послать в село Кандинское за крестьянами. Древняя монастырская приходо-расходная книга сохранила грустную страницу об истраченной «полтине» на мужиков, снимавших с колокольни князя Талалаева.

Шли годы. Талалаев все же остепенился, и для многих радостно было видеть среди молящихся Кандинского монастыря и князя Талалаева. Он долго еще жил в монастыре, уже никем не принуждаемый.

За крещение своего народа и за благочестивую кончину, он получил у нас в Сибири имя святого князя Владимира Остяцкого.

ЮГОРЬЕ

Здесь в отдаленные времена был основан монастырь на берегу Ледовитого океана, неподалеку от Урала, в

том месте, где сходятся Европа и Азия. Это тоже необыкновенная страна, с незапамятных времен имевшая общее название Югорье и часто упоминавшаяся в наших древних документах — церковных, исторических и прочих.

Это место называлось Югорьем либо потому, что там жили угры — теперешние мадьяры, жители Венгрии, либо потому, что оно было святым поприщем святого Юрия — Георгия, «скакавшего через горы и леса на белом коне и повелевавшего рыскающим зверьем», в обилии там кишевшим. Святой Юрий — Георгий охранял и оберегал стада номадов и покровительствовал полям и хижинам земледельцев, ютившихся в ущельях и долинах гор.

Там и был основан Югорский монастырь. Подобно евангельским галилейским рыбакам, монастырские подвижники поставили себе святою целью, с Божией помощью «одолеть» океанские воды, на эти воды нести, по мере сил своих, свет христианский.

Монахи Югорского монастыря служили большею частью поморам, учили неопытных рыбному промыслу, помогали бедным поморам всякой снастью. Своими руками плели сети, образцы которых привозил им наш замечательный сибирский меценат Сибиряков, прославившийся перед этим помощью известному ученому Брему, материальной и всяческой помощью. Сам Сибиряков умер в глубокой старости во Франции, в эмиграции, в нищете, всеми забытый, даже сибиряками.

Судьба Югорского монастыря была потрясающе трагична.

В одну особенно суровую полярную зиму — в 60 градусов мороза, монахи Югорского монастыря, отрезанные от всего живого, заболели цынгой и все вымерли, не оставив о себе никаких записей. Этот страшный случай казался в мое время загадочным и необычным,

так как даже самые простые и безграмотные поморы всегда оставляли хоть клочок бумажки. Так было принято у нас.

Мне думается, что югорские монахи, после своей кончины, были ограблены. Об этом у нас ходил слух, и сообщил о нем один самоед, который, когда погода позволила, пробрался в монастырь и вывез на повозке на собаках одного монаха уже полумертвым. Самоед рассказывал, что до него кто-то уже побывал в монастыре.

Долго Югорский монастырь стоял безлюдным и опустелым, не решались туда посылать новых людей. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Югорский монастырь запечатлен нашим замечательным художником, полярником Максимовым. Была книга воспоминаний этого художника о Заполярье, где воспроизведены репродукции зарисовок художника и картина Югорского монастыря.

ЧУЛЫШМАН

Этот монастырь был алтайским Сен-Готардом. Монахи с собаками разыскивали по горам, лесам и долинам Алтая заблудившихся и сбившихся в пути. Находили очаги нужды и эпидемий. Оказывали всяческую помощь и снабжали нуждающихся, по возможности, всем необходимым.

Чулышманский монастырь находился недалеко от Телецкого озера, в которое впадало семь рек. В их числе была и река Чулышман. На ее берегах, верст на пятнадцать выше устья, и был основан Чулышманский монастырь.

По духу своему и по хозяйственному замыслу, он походил больше всего на Валаамский монастырь и представлял собой маленькое монастырское «царство-государство», во главе с игуменом. В этом монастыре не

только молились, но и особенно много трудились и сами производили для себя все необходимое. Монахи ставили себе непременной целью делиться с людьми этим производимым, если бы даже пришлось себе отказывать.

Кроме церкви, в монастыре была больница, был приют для увечных и стариков, были школа, библиотека, мастерские, мельницы, на которых мололи не только свое зерно, но и на всю округу. Школа была интернатом не только для русских мальчиков, но и для аборигенов страны, и не только духовного, но и других сословий. Многие из окончивших эту школу стали знаменитыми людьми, подвизавшимися не только на духовном поприще.

От монастыря все устье Чулышмана было забито стволами и коряжинами деревьев, которым пороги и камни мешали уплыть в Телецкое озеро. Самый монастырь стоял в узком ущелье. Недалеко от него одна из рек низвергалась в озеро с высоты в полверсты, образуя внизу веерообразные каскады вод и водовороты. Все это красоты необычайной и неописуемой. Вокруг этих мест был невероятный шум и всякие опасности. По временам года эти опасности были разные: летом можно было отделаться довольно-таки невеселой ванной, а зимой обратиться в ледяную сосульку или просто кануть на дно.

Монахи зимой совершали свои походы на лыжах и умели, несмотря на свои рясы, носиться, как вихрь, среди стужи и метелей, спасая и помогая людям во всех опасностях, во имя Христово.

ТАЙНЫЙ СКИТ В ТАЙГЕ

Судьба мощей св. Иннокентия. Трагедия Руси

В дальневосточной печати рассказываются подроб-

ности одного из сенсационных дел, слушавшегося несколько лет тому назад в иркутском губсуде. Дело было возбуждено против иеромонаха Палладия (Светлова), бывшего колчаковского офицера Кудрявцева и трех крестьян — Горбатовского, Нефедова и Васильева, обвинявшихся в тайном увозе и сокрытии мощей св. Иннокентия и Софрония Иркутских и в образовании на советской территории нелегального общества.

Сущность дела сводится к следующему. До конца 1920 года мощи св. Иннокентия и Софрония покоились неприкосновенными, — одни в Новом соборе Иннокентиевского монастыря, другие в Старом соборе города на берегу Ангары. В конце 1920 года в Сибири была организована специальная комиссия по вскрытию мощей. В это время служителем при мощах св. Софрония был иеромонах Палладий. Как только слух о предстоящем вскрытии мощей распространился по городу, группой верующих, в которую вошли все упомянутые лица, был задуман смелый план сокрытия мощей и перевезения их в более безопасное место. Однажды ночью, в декабре того же года, к тому месту, где стоял собор, подплыла большая лодка, в которую и были перенесены мощи св. Софрония, вынутые из раки и положенные в простой деревянный гроб. После этого лодка направилась вниз по течению и остановилась у собора, в котором покоились мощи св. Иннокентия. Здесь перенесение мощей было совершить еще легче, так как монастырь отстоял в нескольких верстах от города и никем не охранялся.

Мощи обоих святых были доставлены в глухую таежную местность, верст на сто к северу от Балаганска. Здесь были выстроены два скита, которые стали быстро заполняться бежавшими от советской власти людьми. Скиты не отказывали никому в убежище. Поселенцы своими руками выстроили две церкви в честь св. угод-

ников, вокруг разросся целый поселок и было расчищено несколько десятков десятин земли под посевы. В скитах появились специалисты по пчеловодству, куроводству, рыбной ловле и охоте. Словом, в самое короткое время на территории Советов появился значительный поселок, совершенно чуждый по своей структуре большевистской власти. Все жители подчинялись строгому уставу, предписывавшему воздержание, молитву и трудовую жизнь.

С течением времени слухи о существовании таинственного скита разнеслись по всей Сибири, и туда стали стекаться больные, богомольцы и добровольные пожертвования. Власти отправили в скит карательную экспедицию, которая арестовала руководителей, реквизировала все имущество жителей и устроила так коммунистическое общежитие. Мощи обоих святителей увезены неизвестно куда. Все подсудимые были приговорены к высшей мере наказания, за исключением отца Палладия, который скончался еще в тюрьме.

КАМЧАТСКАЯ УСПЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

«Кто в камке,
кто в парче, кто в епанче,
а кто и в холсту —
по тому же мосту...
Идут к Успенью,
слушать ангелов
пенье!..»

О Камчатке даже школьники шутили: «Попал на Камчатку!»

Это означало — либо тихий мальчик, либо большой шалун. И сидит в классе на задней парте!

Увы, кроме сего, иных сведений о Камчатке у нас не водилось!

Правда, в детстве, по народным песням, былинам и сказкам, слышал я про орла сизого камчатского, про бобра:

«Как у ключика, у кипучего,
купался бобер, купался седой.
Он купается, замарается . . .
На гору идет — отряхается! . .»

Да еще видел шелковую китайскую ткань с разводами, почему-то называвшуюся камчатной.

После, по книжкам, да по рассказам старых людей, узнал, что есть у русского царя дальние владения, камчатскими именуемые.

Это полуостров, вытянувшийся на тысячу с лишним верст, вдоль материка в Великий океан. Раньше его считали островом, так как перешеек, — Парапольский Дол, — нашли значительно позже. Имел он ширину всего сто верст. И не всегда был проходим, являясь своеобразны лабиринтом.

В первой половине прошлого столетия на Камчатке был основан монастырь, получивший наименование Камчатская Успенская Пустынь.

Относилось это ко времени первых попыток создать на Камчатке земледелие. В 1740-х годах, при императрице Елизавете Петровне, дочери Петра Великого, привезли на Камчатку первую партию крестьян. В память сего сохранилось до настоящего времени название селения Елезино. Неподалеку от главного камчатского города Петропавловска.

«И Петр, и Павел, Елизавета
весьма любили сии места.
Так хорошо камчатским летом . . .
А все полны привета
и славят Господа Христа . . .
В камчатском крае,
как в Божьем рае!»

В эти же сороковые годы семнадцатого столетия. а именно в 1747 году, поэт Михаил Васильевич Ломоносов отозвался восторженной одой, может быть по сему же случаю:

«Сия тебе единой слава,
Монархиня принадлежит.
Пространная твоя держава,
О, как тебя благодарить!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля твои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет.
Богатство в оных потаенно
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет . . .
Толикое земель пространство
Когда Всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл . . .»

Но еще до этого сибирский казак Владимир Атласов, открывший Камчатку, и возивший в Москву первую камчатскую дань, — соболями и всякими драгоценностями — привез еще в дар целый мешок камчатской земли.

В министерстве по сибирским делам у него соболей и драгоценности приняли. А над землей смеяться стали:

— Зря старался, коней маял. Земли у нас много. Земля и есть земля. Чего ее с места на место переволакивать. Земля покой любит!

Атласову это обидно показалось, осерчал. Но сдержался, смолчал.

«Что ни говорите, — думает, — а я по-свойму сделаю!»

В тот день, как из Москвы в Сибирь уезжать, раным-рано, еще пресветлое солнышко не всходило, вы-

шел на Красную площадь, помолился Василию Блаженному. Поклонился московскому Кремлю и стал раскидывать из мешка камчатскую землю. А сам приговаривает, как будто молитву читает:

— Государыня наша, площадь Красная, прими ты на веки вечные Землю камчатскую, пусть в тебе лежит, как своя!

И зардевшийся зорькой ответил Василий Блаженный:

— Закрепляю! Бобры, да куницы, да соболи — разлиняются. А земелька камчатская до веку к нам тяготеть будет!

По горькой своей судьбе Владимир Васильевич Атласов не доехал на этот раз до Камчатки.

Но остался на Камчатке его памятный знак с надписью на скалах камчатских: «В таком-то году и месяце был тут сибирский казак Атласов со товарищи».

Всего их было пятьдесят пять человек. Ишь, куда с полусотней Атласов забрел . . . на Камчатку!

Боже, спаси их души,
возьми их в рай . . .
На Камчатку с радушьем
взирай! . .

Успехи сельского хозяйства камчатской Успенской Пустыни по-началу были незначительны. Более удачными оказались опыты огородничества.

Во второй половине прошлого столетия, во многих местах полуострова, как у русских, так и у местных жителей-ительменов, имелись свои огородики. Где произрастала и картошка, и редечка и репка!

Рогатый скот был впервые завезен на Камчатку в 1733 году. На третий год царствования императрицы Анны Иоанновны, дочери царя Ивана, брата Петра Великого. С тех пор такие завозы повторялись. Скот со-

держался на подножном корму круглый год. Благо пастбищ было превеликое множество.

Кони также паслись свободно. Но так дичали, что их трудно было поймать. Зато кони были отличествующие!

Служилые люди, казаки и крестьяне, систематически переселяемые на полуостров, с средины восемнадцатого столетия, женились на ительменках. Заимствовали некоторые элементы их быта и культуры. В результате появилось то своеобразное население, коим Камчатка славилась.

Ительмены, как и другие племена обитавшие на полуострове, числились православными.

«Кто в камке,
кто в парче, кто в епанче,
а кто и в холсту —
по тому же мосту . . .
Идут к Успенью
слушать ангелов
пенье! . .»

ОРСКАЯ ОБИТЕЛЬ ПОКРОВА

Существовало такое давнее уральское предание. Замечательное своей простотой и краткостью:

«Инок Еремей
на горе Иремель,
у истоков Белой
келейку имел!»

Иремель — это горный массив Южного Урала, близ истоков Белой, в теперешней Башкирской республике,

Высота свыше полутора тысяч метров. Состоит из кварцитов и кристаллических сланцев. Склоны покры-

ты лесами. Главным образом хвойными. На вершине горная тундра и горные луга.

Где-то здесь берет начало и река Урал. В старину называвшаяся Яиком. В устье Яика стоял Гурьев городок, о коем поется в давней песне о Стеньке Разине.

«Он громко речь возговорил
Как во трубу протрубил:
'Уж вы гряньте-ка берята,
Да ко Гурьеву,
Ко крутому его бережку!'
По сходенкам сошел
Воровской атаманушка.
'Вот я и в гости к вам
Пожаловал.
Не пить, не гулять,
Не баталище заводить,
А святым храмам
Поклониться'.

Воротички сами отворились. Пустили Степана Разина с ватагою.

Уездный город Покровской обители Верхнеуральск находился значительно выше по реке Уралу. Ближе к Орску был расположен Магнитогорск. У подножия горы Магнитной, по обоим берегам Урала. Теперь это один из крупнейших центров металлурической промышленности. В нем свыше трехсот тысяч жителей.

Орск находится между Ново-Троицком и Ново-Орском, там, гне река Орь впадает в Урал.

В Орске некогда находился нештатный общежительный женский монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, где в престольный праздник, первого октября можно было слышать песнь Пресвятой Богородицы:

«Воличит душа моя Господа. И возрадованя дух мой о Бозе, Спасе моем . . .»

И ответ на сие церковным песнопением:

«Преблагословенна еси, Богородице Дево . . .»

Покровская обитель была учреждена в 1888 году. На седьмой год царствования царя-миротворца Александра III, мещанками Анной Арзамасцевой и Евфимией Шуваловой и другими ревнительницами благочестия.

Вначале она существовала ввиде общины. На четвертый год царствования государя императора Николая Александровича, была переименована в монастырь.

Покровская обитель владела двумя стами десятин земли. Управлялась матерью игуменьей. При ней числилось четырнадцать монахинь и девяносто послушниц.

«В далеком Орске,
в хлебе черством,
была святая благодать.
И, как сказать,
противоборствуй монастырям,
где Божья Мать.
Где вславу Господа Исуса
уста к устам . . .
И многоустный
возносится на небо
храм!»

К нам дошли прискорбные вести. В январе 1964 года, на скамье подсудимых оказались три священника Оренбургской и Бузулукской епархий.

И сами же советские люди восклицают: «Не слишком ли много на одну епархию, где всего десять церквей?!»

В оренбургской области проживает около двух миллионов населения. На его долю, на площади ста двадцати трех тысяч квадратных километров всего приходится две-три церкви. Если вообще приходится! Так как большинство церквей находится в городах Оренбурге, Бузулуке, Орске; и других городах. Сельское население лишено возможности посещать церкви и совершать

церковные обряды. Так говорят сами же советские люди.

Но что огорчаться этим!

«В дальнем Орске
только горстка
верных Богу христиан,
говорят о жизни новой . . .
И рассется туман!
И воздвигнут в сердце
храм . . .
Храм Христов,
нерукотворный!»

На этих необъятных пространствах и в старые времена, порой, не очень уважали святыни, если судить по давней народной песне:

«Голытьба тут догадалась,
К Емельяну собиралась.
Позабыли про иконы,
про кресты и про поклоны,
Все пельмени да блины,
Веселились туто мы . . .
А попов всех — на костры».

Если судить по теперешним иллюстрациям к «Капитанской дочке» Александра Сергеевича Пушкина, все же один священник-батюшка, стоя босыми ногами на снегу и с непокрытой головой, с большим медным крестом в закоченевшей руке, успел вымолить у Пугачева пощаду обитателеям сопротивлявшейся ему Белгородской крепости.

В блинной каверзной слякоти, в буйствах и крови захлебнулся пугачевский бунт. Как поет сама же песня:

«Емельяновы холопы
понадели все салопы.

И, как барски девочки,
навздевали перстенечки...»

Тем, что «казнили Емельку», дело не окончилось. Будто и улеглось все. Тишь да гладь. Но в этой тиши поэты напевали:

«В восторге
орская аврора.
Какой простор,
какая даль.
Куда ни кинешь
нежна взора:
как будто
вечный календарь
весны и роз...
И, вдруг, мороз!»

Морозов и далей орские обывательницы боялись. Предпочитали отсиживаться у камина. Но читали Некрасова и его поэму «Русские женщины». Бросив книжку в кресло или на кушетку, стремительно восклицали: «В Нерчинск! В Нерчинск!» Хотя и здесь своих ссыльных хватало. В 1855 году, в год смерти императора Николая Павловича и восшествия на престол царя-освободителя Александра II, в Оренбургский край, как бы в почетную ссылку, прибыл писатель, поэт и общественный деятель Михаил Ларионович Михайлов, принадлежавший к славной плеяде литераторов, в коей был и Некрасов. Михаил Ларионович подарил орским обывателям такие строки:

«Бывают дни. И дней таких немало,
Когда душа печальна, холодна.
Клянешь и жизнь, чем сердце трепетало,
И будущность мне кажется темна.
Бывают дни. Но дней таких немного.
Когда в душе и ясно, и тепло.

Когда за жизнь я благодарен Богу . . .
И в будущем все кажется светло!»

Стихотворение было датировано 1847 годом, а в 1865 Михаил Ларионович скончался, замученный болезнью и тяжелыми лишениями. Четырнадцатого августа, в день семи святых отроков, иже во Ефесе.

ПО АЛТАЙСКИМ ОБИТЕЛЯМ

(Повесть Страстная)

Возле Бийска, уездного города алтайского горного округа, находился бийский Тихвинский монастырь.

Был он основан в честь Тихвинской иконы Божией Матери, явленной в 1383 году, которая вскорости стала именоваться Алтайской.

Праздновали ее, как и российскую Тихвинскую, 26 июня, в день преподобного Иоанна, епископа Готского.

К этому дню, а также в дни больших праздников, в Бийскую обитель стекалось множество народа не только с Алтая, но также и с прилегающих к нему других местностей Сибири.

Однажды, перед Пасхой, по деревням, селам и городам сибирским, в Бийскую обитель пробиралась странница, и всем встречным кланялась, сказывала повесть Страстную про Агасфера и Агасферицу скитающихся. Она говорила:

— По древнему святому преданию, некто Агасфер был обречен на вечное скитание. За оскорбление, которое он нанес Христу, шедшему на крестное страдание. И в Страстную пятницу, люди грех Агасфера замаливают, к Богу о нем взывают, чтоб простил.

И я, Агасферица грешная, обречена на вечное скитание, за то, что в Христа не верила. И за меня помолитесь!

Так шла она до самой обители Бийской, от села к селу, от деревни к деревне, путем древним.

И люди ей кланялись и тоже каялись в грехах своих, и говорили:

— Придешь в обитель, помолись и о нас в светлый час Христова Воскресения!

Давали страннице копеечки на свечки и на ее расходы дорожные. Давали ей еду, хлеб насущный.

В том же году, по осени, отправляясь в горы Алтайские, 16 сентября, в день аввы Дорофея, пустынника Египетского, я навестил обитель.

Люду было не так много. Поодаль от обители, в небольшой тесной кучке богомольцев, беглый острожник громко говорил, как бы всенародно каясь:

— Нынче аввы Дорофея! И вы, может, насчет меня в недоумении? По-гречески Дарофей есть дарование Божие. А когда меня Доровефеем называли, про острог-то и не знали, что я туда попаду!

А богомольцы его утешали душевно:

— Ты не сумлевайся, со всяким это может случиться. Христос на кресте и разбойника простил. Может и тебе грехи отпустит. Оставайся в обители!

Вечернее

Полыхают зарницы тревожные,
Будто отблески пожаров былых.
Вспоминая кресты придорожные
Я простил своих ворогов злых.

Сердце полнится думами новыми
Чист и золот в лампаде елей
И горит огоньками восковыми
Дар пчелиный с далеких полей

Где таится печаль неизвестная!
Одинокий но светлый стою . . .
Укрепи, из невест Неневестная,
Озаренную душу мою!

ПАСХА В МИССИОНЕРСКОМ СТАНЕ СИБИРИ

Светлый День,
который сотворил
Господь.
(Псалом 118, стих 24.)
«Вот день,
который
сотворил Господь!»
Будем радоваться
и торжествовать
в оный:
сегодня Пасха
Господня!»

В девяносто пяти верстах от города Бийска, в шести верстах от селения Улалы, при впадении речки Улалы в реку Наиму, находился Николаевский Улалинский миссионерский монастырь.

Он возник в 1863 году, под именем женской общины. При монастыре существовали училище и больница. Монастырь владел 3413 десятинами земли. Управлялся игуменией, при ней состояло семь монахинь и значительное число послушниц.

Алтайская духовная миссия, начавшая свою духовную деятельность на Алтае в 1830 году, открыла, в 1858 году, первый миссионерский стан в улусе Кузедеевском, на реке Кондоме.

Затем она продвинулась глубже втайгу, вверх по Кондоме и перенесла свой стан в улус Кондомский, в ста пятнадцати верстах от города Кузнецка, где теперь

находится Кузбасс, промышленный район советской страны.

Позднее миссия распространила свою деятельность на бассейн реки Мрассы, которая теперь на карте именуется Мрасс-Су, разместившись в Усть-Аирасском и других станах, охватив таком образом своими станами все обширное пространство Южной Сибири, до Минусинской степи, находящейся в Енисейской губернии.

В настоящем очерке я привожу рассказ из записок миссионера уалинского стана:

— К празднику Пасхи мы с отцом Смарагдом отыскали в ризнице куски цветных материй. Этими материями мы драпировали весь убогий Улалинский иконостас.

Около церкви заготовили кучи дров, чтобы зажечь их в пасхальную ночь. Выпросили сала и дегтя, и заготовили плошки. Один новокрещенный, где-то отыскал и привез к церкви дегтярную бочку.

Незадолго до благовеста к пасхальной утрени, весь этот горючий материал был зажжен. В тоже время алтайцы зажгли горы, окружающие Улалу.

Погода стояла тихая, ясная. Наша иллюминация удалась как нельзя лучше. На улице сделалось так светло, что все было видно как днем.

Особенно интересно было смотреть, как пылали горы. Такой великолепной иллюминации не видали ни Москва, ни Петербург.

В пасхальную утреню, в определенное время, стали христосоваться. И тут бросилась в глаза особенность. В миссии не целуют друг друга в уста, как это принято на Руси, а в плечо, по-монашески.

За пасхальной обедней Евангелие читалось на трех языках. Отец Смарагд, иеродиакон, читал по-славянски, отец Стефан по-татарски и отец Иоанн по-гречески.

«Христос Воскресе!» пели попеременно на этих же языках.

Находясь на окраине православного царства, отрадно было видеть, что свет Христов заблистал в горах Алтая.

А отсюда он может светить дальше и дальше, в страны языческие, в Монголию и Киргизию. Хотелось видеть, что свет этот скоро осветит всю темную Азию.

При этом свете должна рассеяться тьма язычества. Откроются очи в странах магометанских и буддийских. И узрит этот свет заблудившееся человечество.

Дай Господи, чтобы это поскорей совершилось. Для нас Христос воскресал, а для азиатов Он, точно не приходил еще.

Смотря на это пасхальное торжество, на лица новокрещенных, сияющие от вострога, думалось: вы, недавние язычники, видите, яко благ Господь.

Оставленное вами язычество, в состоянии ли возбудить такой духовный восторг? Теперь вы будете с радостью восклицать, вместе с нами: «Кто Бог великий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса!»

О, если бы вы, новокрещенные, знали, какою ценою досталось вам это пасхальное торжество. Как была проведена первая христианская Пасха. Как она совершалась во времена апостольские, когда лились целые потоки крови святых мучеников. Тогда у вас открылся бы еще новый источник радости: вы стали бы благодарить Бога за то, что вы живете в двадцатом веке и находитесь в пределах христианского государства.

Во вторник на Пасхе, после обедни, напившись чаю, мы отправились на самую высокую улалинскую гору — Тургаю.

Рад я был этой экскурсии с самого приезда в Улалу. Меня постоянно томило желание побывать на этой горе и оттуда полюбоваться видами.

Взошли на самое темя горы. Отец Стефан, обратившись к востоку и смотря на цепь гор, сказал:

— Горы Алтайские, Христос Воскресе!

То же он говорил, обратившись к югу и западу, причем благословил эти стороны.

Сели. Вид отсюда прекрасный. На юге виднелись снежные вершины Адыгана и Чаптыгана. Смотрел я, как очарованный, то в ту, то в другую сторону, не отрывая глаз, любовался, восторгался, благоговел перед этой чудной, величавой картиной природы.

Отдохнув немного, отец Стефан сказал нам:

— Как хорошо здесь! Давайте, что-нибудь споем!

Запели «Благослови душе моя Господи, Господи, Господи Боже мой, возвеличился еси зело . . .»

Потом запели из «Лепты»:

«О, Троице Святая,
в трёх единый Бог!
Томимся мы, желая
в пресветлый Твой
чертог!»

Пели «С нами Бог, разумейте языци!» и другое, чего теперь не припомню.

Налюбовавшись видами и напевшись вдоволь, мы стали собираться домой.

Этот рассказ из записок миссионера, я привел полностью, во всей его наивной простоте и искренности. Это пасхальное торжество в местных улалинских миниатюрных размерах. И скромный проповедник алтайской миссии верятно не знал о той величественной картине, которая раздвинулась во всю необъятную ширь просторов Азии еще до его прекрасных строк.

А может быть он судил со своей улалинской точки зрения, с улалинского шествия в глубь Азии со светом Христовым.

Еще в 1721 году, по повелению императора Петра I, святой Иннокентий, наименованный в русской церковной истории Иркутским, был поставлен в сан епископа и отправлен в город Пекин, столицу Китая.

Правда, святой Иннокентий, по пути в Китай, встретил некоторые препятствия, заболел, занемог и опочил в Бозе, в городе Иркутске. Но дело его продолжалось.

Нельзя не напомнить о другом Иннокентии, иркутском же, просветителе алеутов. И о шествии других русских христианских проповедников во все концы Азии и даже на американский берег . . .

Звон-то звон —
Со всех сторон!
С монастырской рощи,
Где святые мощи,
Где постом капуста —
Там гудят-то густо.
Из села большого
Звону тоже много —
Дали не робея,
Хоть и послабее.
Но зато отрада:
Из святого града,
Из Москвы престольной,
Звон-то колокольный —
Тысячепудовый,
Сорок-сороковый. *
В нашей же деревне,
С колокольни древней . . .
Там звонарь Афоньша,
Голосом потоньше —
Будто бы в малинку

* По преданию в Москве сорок сороков церквей, (то есть 1600), но их было только около тысячи.

Сыпит из корзинки:
«Пасха наступает,
К Богу приближает:
Целовать Христа
Не в Крест — в уста!»

СОДЕРЖАНИЕ

Глава II. За Урал-Камень

Глава III. Сказки сибирские

Глава IV. Замечательные люди Сибири

Глава V. Таежные рассказы

Глава VI. Сибирские монастыри и обители